

Мир приключений

Джозеф Конрад



Прыжок за борт

ЧТОБЫ
СЕМЕЙНО
ПОСЛУШАТЬ

Мир приключений (Клуб семейного досуга)

Джозеф Конрад
Прыжок за борт

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

1900

УДК 821.111

Конрад Д.

Прыжок за борт / Д. Конрад — Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 1900 — (Мир приключений (Клуб семейного досуга))

ISBN 978-617-12-2483-4

Джим с детских лет грезил об опасных морских путешествиях, о штормах и бурях, о команде настоящих морских волков. И вот его мечта сбылась: Джим стал помощником капитана. Но неисправное судно едва не терпит крушение, жизнь 800 пассажиров под угрозой, а трусливый капитан бросает людей в беде. Джим не может простить себе малодушия и готов предстать перед судом, хотя другие члены команды попросту сбежали от правосудия... Познавший всю горечь предательства и несправедливости, позора и обвинений в трусости, Джим отправляется в леса Малайи, дабы там испытать свою судьбу и начать новую жизнь.

УДК 821.111

ISBN 978-617-12-2483-4

© Конрад Д., 1900
© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 1900

Содержание

Вступление автора	6
Глава I. Тщеславие – это суетно	7
Глава II. «Патна»	10
Глава III. Дрожь под водой	13
Глава IV. Допрос	17
Глава V. Миллионы розовых жаб	20
Глава VI. Недоразумение	29
Глава VII. Восемьсот человек и семь шляпок	38
Глава VIII. Исповедь без отпущения грехов	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Джозеф Конрад

Прыжок за борт

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2018

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление,
2018

Вступление автора

*Уверенность моя крепнет с того момента, когда другая душа
разделит ее.*

Новалис

Когда я выпустил этот роман отдельной книгой, критики написали, что я вышел за рамки задуманного. Кое-кто из них утверждал, будто я начал новеллу, а затем она так разрослась, что уже не подчинялась мне. Они напоминали: повествовательная форма имеет свои законы, и ни один человек не может говорить слишком долго, а другие – долго его слушать.

Около шестнадцати лет я раздумывал над этим суждением, и, признаться, не согласен с ним. Нередко люди – в тропиках и в умеренном климате – просиживали ночи напролет, рассказывая друг другу невероятные истории. Здесь перед нами лишь одна из них, но повествователь говорит с перерывами, что позволяет слушателям отдыхать; к слову сказать, история эта интересная. Не будь она таковой, я никогда не стал бы ее писать. Что же касается читательской выносливости, замечу: парламентские ораторы произносят свои речи по шесть часов подряд, и публика их слушает, тогда как рассказ моего героя Марлоу можно прочесть вслух менее чем за три часа. Ну а помимо всего прочего, представим, что в тот вечер подавались прохладительные напитки, помогавшие и рассказчику, и слушателям довести историю до конца.

Я задумал написать рассказ, темой которого выбрал эпизод с паломническим судном. Таков был первоначальный план. Написав несколько строчек, я остался недоволен и на время отложил работу. Я не вынимал рукопись из ящика стола, пока мистер Уильям Блэквуд, ныне покойный, не предложил мне дать что-нибудь в его журнал. Вот тогда-то мне показалось, что эпизод с судном «Патна» нужно развернуть в повесть. Те немногие страницы, что лежали у меня в ящике, повлияли на выбор темы, но все остальное я написал заново.

Мне задавали вопрос, не является ли эта книга самой любимой из всех мной написанных. Я ненавижу фаворитизм и в общественной, и в частной жизни; столь же враждебен он мне и тогда, когда речь идет об отношении автора к своим произведениям. Фаворитов я не хочу иметь принципиально, однако не стану отрицать, что мне нравится, когда хвалят историю про моего Джима. Тут не обошлось без курьезов...

Один мой друг вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не понравилась. Конечно, я расстроился, но больше всего меня поразила причина такой неприязни. «Вы знаете, – сказала дама, – все это как-то болезненно». Такая оценка навела меня на некоторые размышления. Похоже, моя читательница не являлась итальянкой, я даже сомневаюсь в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один европеец не счел бы болезненной ту остроту, с какой человек реагирует на утрату чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее сочтут искусственной и осудят; наверное, мой Джим как тип встречается не очень часто, но я заверяю читателей, что он – не плод извращенной фантазии. Однажды солнечным утром в будничной обстановке одного из восточных портов я видел, как он прошел мимо, умоляющий, выразительный, безмолвный, в тени облака. Таким он и должен быть. И со всем сочувствием, на какое я способен, я должен найти нужные слова, чтобы рассказать о нем. Он был одним из нас...

Джозеф Конрад

Июнь, 1917 год

Глава I. Тщеславие – это суетно

Ростом он был, пожалуй, на один-два дюйма меньше шести футов, крепко сложен; слегка сгорбившись, он шел прямо на вас, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что вызывало в воображении образ быка, бросающегося в атаку. Голос у него был глубокий и громкий, а держал он себя так, как будто упрямо добивался признания своих прав. Однако в этом не было ничего враждебного. Казалось, эта настойчивость обуславливалась необходимостью и, по-видимому, относилась и к нему самому, и ко всем окружающим. Одет он был всегда безупречно, с ног до головы в белом и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где служил клерком в фирмах, снабжавших суда морской утварью.

От морского клерка не требуют никаких дипломов, но он должен обладать деловой сноровкой. Его обязанности заключаются в том, чтобы в лодке или на катере обгонять конкурентов, первым подплыть к судну, готовому бросить якорь, и приветствовать капитана, вручая ему проспект своей фирмы, а когда капитан сойдет на берег, нужно уверенно направить его к большой, похожей на пещеру лавке. Там можно найти все, чтобы украсить судно и сделать его пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепей и заканчивая листовым золотом для украшения кормы.

Торговец встречает капитана, которого никогда прежде не видел, как своего родного брата. Он ведет его в прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и копией торговых правил. Радужный прием растапливает соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка, до тех пор пока судно остается в порту. К капитану клерк относится, словно верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и держит себя веселым и добрым малым. Счет посылают позже. Какое прекрасное и добропорядочное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко.

Если расторопный клерк вдобавок знаком с морем, хозяин платит ему приличные деньги и делает кое-какие поблажки. Джим всегда получал неплохое жалованье и пользовался такими привилегиями, какие завоевали бы верность врага. Тем не менее, с черной неблагодарностью он внезапно бросал службу и уезжал. Неубедительность объяснений, какие он давал своим хозяевам, была очевидной.

– Вот болван, – говорили они, как только он закрывал за собой дверь. – И чего ему не хватало?

Таково было их мнение об его утонченной чувствительности.

Для белых, живших на побережье, и для капитанов судов он был просто Джим. Имелась у него, конечно, и фамилия, но он старался, чтобы ее не знали. Это инкогнито, дырявое, как решето, преследовало целью скрывать не его, Джима, личность, а некий давний факт его биографии. Когда о нем начинали говорить, наш герой тут же покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой – обычно дальше на восток. Он служил в морских портах, ибо был моряком в изгнании, оторванным от моря, и отличался сноровкой, очень удачной для морского клерка. Нередко он отступал туда, где восходит солнце, но судьба мчалась за ним, и некоторые события его жизни получали огласку – случайно, но неизбежно.

Шли годы, и о Джиме узнавали в Бомбее, в Калькутте, Рангуне, Пекине, Батавии – везде как о морском клерке. Впоследствии, когда острое сознание невыносимости своего положения окончательно оторвало его от морских портов и белых людей и увлекло в девственные леса, малайцы поселка, где он скрылся, стали называть его туан Джим, то есть лорд Джим.

Родился он в пасторской семье. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Столетия стояла она здесь, но деревья вокруг помнят, наверное, как был положен первый камень. Внизу, у подножия холма, мягко отсвечивал

красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, цветочными клумбами и соснами; позади дома находился фруктовый сад, налево – мощный скотный двор, а к кирпичной стене прилепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений. Джим был одним из пяти сыновей, и когда, начитавшись во время каникул беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на учебное судно для офицеров торгового флота.

Там он учился тригонометрии и искусству лазить по реям. У него была хорошая успеваемость. По навигации он занимал третье место и состоял гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружению, он ловко взбирался на самые верхушки мачт. Его пост был на формарсе, и с гордостью человека, презирающего все опасности, он часто смотрел оттуда вниз на мирное полчище крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы, тонкие, как карандаш, и изрыгающие дым, как вулкан, вздымались перпендикулярно грязному небу. Джим видел, как внизу под ним отчаливали большие корабли, непрерывно двигались паромы и шныряли лодки, а вдали мерцали туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе под гул двухсот голосов Джим забывался и в мечтах заранее проживал жизнь на море, о которой знал из книг. То он спасал людей с тонущих судов, то в ураган срубал мачты или с веревкой плыл по волнам, то, потерпев крушение, одиноко бродил босой и полуголый по рифам в поисках съедобных ракушек, чтобы отсрочить голодную смерть. Он сражался с дикарями в тропиках, умирал бунт, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях, всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.

Что-то случилось. Все сюда! Он вскочил. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот, и, выбравшись из люка, он, ошеломленный, застыл на месте. Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, движение на реке прекратилось, и теперь он дул с силой урагана; его гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, падала хлещущая сплошная завеса, изредка перед глазами Джима вставали набегающие волны, суденышко билось у берега, неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане, тяжело раскачивались паромы на якоре, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это смыл. Воздух словно состоял из одних брызг. В этом шторме было злобное упорство, в визге ветра, в смятении земли и неба – ярость и настойчивость. Эта ярость как будто была направлена против него, Джима, и он в страхе затаил дыхание.

Кто-то его толкал:

– Спустить катер!

Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в лежавшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна видел, как это произошло. Ученики вскарабкались на перила, окружили боканцы и закричали:

– Авария! Как раз перед нами! Мистер Симонс видел!

Джима отпихнули к бизань-мачте, и он уцепился за веревку. Старое учебное судно дрожало всем корпусом, а снасти низким басом тянули песнь о днях былой юности. Джим видел, как лодка быстро исчезла за бортом, и бросился к перилам. Слышен был плеск:

– Отдать канаты!

Он перегнулся через перила. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виднелся катер, весь во власти ветра, и валы, которые на секунду пригвоздили его борт о борт к судну. Слабо донесся чей-то голос с катера:

– Гребите сильнее, иначе нам никого не спасти!

Вдруг катер, высоко подбросив нос – весла были подняты, – перескочил через волну и разорвал цепи, в которые его заковали волны и ветер. Кто-то схватил Джима за плечо:

– Опоздал, малыш!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, казалось, собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на наставника виноватые глаза. Капитан сочувственно улыбнулся:

– В следующий раз тебе повезет. Научишься сноровке!

Катер приветствовали громкими радостными криками, он вернулся наполовину залитый водой, танцуя на волнах, а на дне его копошились два измученных человека. Грозный гул моря и ветра казался Джиму не стоящим внимания, тем острее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Он верил, что шторм ему больше нипочем. Он не побоится и более серьезной опасности. Страх прошел бесследно, но весь вечер Джим мрачно держался в стороне, а гребец катера, мальчик с красивым лицом и большими серыми глазами, наслаждался славой героя палубы. Его обступили и с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

– Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не свалился за борт, думал, что упаду, но тут старый Симонс выпустил румпель и ухватил меня за ноги, лодка едва не опрокинулась. Симонс – славный старик. Не велика беда, что он всегда ворчит. Пока он держал меня за ноги, то все время ругался, но этим он хотел внушить мне, чтобы я не выпускал багор. Мистер Симонс ужасно кипятился, правда. Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого, большого с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Подумайте только, такой здоровый парень падает в обморок, словно девчонка. Разве мы лишились бы сознания из-за какой-то царапины багром? Я лично не лишился бы! Крючок вонзился ему в ногу вот на такой кусок. – Мальчишка показал, на какой именно, чем вызвал сенсацию публики. – Крючок, конечно, вырвал кусок мяса, но штаны выдержали. Кровь так и хлестала!

Джим решил, что тщеславие – это суетно. Буря вызвала героизм столь же фальшивый, как фальшива была угроза шквала. Джим негодовал на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и задушившее готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо приобрел больше, оставаясь на борту. Многого стало ему понятнее, чем тем, кто участвовал в деле. Если бы все вдруг утратили мужество, он один сумел бы встретить фальшивую угрозу ветра и волн – в этом он был уверен. Он знал, чего она стоила. Ему, беспристрастному зрителю, она казалась достойной презрения. Он не ощущал ни малейшего волнения, и происшествие закончилось тем, что Джим ликовал, незаметно отделившись от шумной толпы мальчиков; он по-новому убедился в своей жажде приключений и многогранном мужестве.

Глава II. «Патна»

После двух лет учебы он ушел в плавание, и жизнь на море, о которой он так долго мечтал, оказалась напрочь лишенной приключений. Он совершил много рейсов, познал будни монотонного существования между небом и землей, ему приходилось терпеть упреки начальства, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради заработка. Единственной наградой для него являлась безграничная любовь к своему делу, отказаться от которого он не мог, ибо нет ничего более пленительного, разочаровывающего и порабошающего, чем жизнь на море. Кроме того, у Джима были виды на будущее. Он проявлял старание, дисциплинированность и в совершенстве знал, чего требует от него долг. Вскоре, совсем молодым, его назначили первым помощником на судно «Патна». Наверное, к тому времени он еще не успел столкнуться с теми испытаниями моря, которые выявляют, чего на самом деле стоит человек, из какого теста он сделан, каковы его нрав, сила сопротивления опасностям и подлинные мотивы стремлений.

Лишь однажды за время службы Джим снова столкнулся с подлинной яростью моря. На молодого человека упал брус, и много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, чувствуя себя в бездне непокоя. Что будет дальше, его не интересовало, боль он переносил равнодушно. Опасность, когда ее не осознаешь, менее мучительна. Страх приглушается, а воображение, враг спокойствия, тонет в тупой усталости.

Джим видел перед собой только свою каюту, терзаемую качкой. Он лежал, как замурованный: на его глазах предметы обрушивались и переворачивались вверх дном, и он втайне радовался, что в такую стихию ему не нужно подниматься на палубу. Но тревога изредка сжимала, как тиски, его тело, заставляла задышаться и корчиться под одеялом, и тогда страстная жажда жить и победить физический недуг пробуждала в нем отчаянное желание спастись любой ценой. Когда буря миновала, он больше не вспоминал о ней.

Однако после травмы он долго хромотал, и, когда судно прибыло в один из восточных портов, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Поправлялся он медленно, и «Патна» ушла без него. Кроме Джима в палате для белых было двое больных: комиссар¹ с канонерки, который сломал ногу, провалившись в люк, и железнодорожный агент из соседней провинции, страдающий какой-то тропической болезнью. Доктора этот агент считал ослом и злоупотреблял лекарством, которое тайком приносил ему преданный слуга. Больные рассказывали друг другу случаи из своей жизни, играли в карты или валялись по целым дням в креслах, зевая и не обмениваясь ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в раскрытые окна, приносил в палату мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи говорили о вечном отдыхе и нескончаемых грезах.

Каждый день Джим глядел из окна на изгороди садов, крыши домов, кроны пальм, окаймлявших берег, и дальше на рейд – путь на Восток, украшенный гирляндами островов, залитый радостным солнечным светом, на маленькие, словно игрушечные корабли, на суету сверкающего моря. Суэта напоминала языческий праздник, а вечно ясное восточное небо и улыбающееся спокойное море тянулись вдаль и вширь до самого горизонта.

Как только Джим начал ходить без палки, он отправился в город разузнать о возможности вернуться на родину. Оказии все не было, и, ожидая судно, парень разговорился в порту с товарищами по профессии. Они делились на две категории. Одни – их было мало и в порту их видели редко – были люди с неугасимой энергией, темпераментом корсаров и взглядом мечтателей. Они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, рискованных предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; смерть представлялась им

¹ Заведующий хозяйством и казначей на судне. – *Здесь и далее примеч. ред.*

единственным разумно завершенным событием. Большинство же состояло из людей, которые, попав на море, подобно самому Джиму, случайно оказались офицерами на местных судах. Теперь они с неудовольствием смотрели на службу во флоте, где дисциплина была строгой, долг считался священным, а судам постоянно грозили штормы. Эти офицеры любили покой восточного неба и моря, короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную команду туземцев и привилегии белых. Их пугала мысль о тяжелой работе, и, полагаясь на других, они мечтали жить беззаботно и, не особенно напрягаясь, продвигаться по карьерной лестнице. Они любили толковать о случайных удачах: такой-то назначен командиром судна, крейсирующего у берегов Китая, – вот повезло, легкая работа! Другому сослуживцу досталось прекрасное место где-то в Японии, а третий преуспевает в сиамском флоте. Этих офицеров можно было понять: они хотели пройти свой жизненный путь в спокойствии и безопасности.

Сначала Джима раздражала эта толпа болтливых моряков, но мало-помалу он начал находить удовольствие от общения с ними: что тут удивительного и кто не мечтает поменьше трудиться и получать привилегии? В конце концов Джим передумал возвращаться на родину и занял предложенное ему место первого помощника капитана на «Патне».

«Патна» была очень старым пароходом, тощим, как голодная собака, и сплошь изъеденным ржавчиной. Владел ею китаец, фрахтовщиком был араб, а капитаном – один тип из Нового Южного Валлиса, по происхождению немец, который прилюдно неустанно проклинал свою родину и, подражая Бисмарку, тиранил всех, кого не боялся. Он разгуливал со свирепым и непоколебимым видом и пугал всех своими рыжими усами и отвратительным багровым носом. После того как «Патну» покрасили снаружи, побелили изнутри и кое-как приготовили к рейсу, на борт взошли пассажиры: около восьмисот паломников, в том числе женщины и дети.

Они поднялись по сходням, подстрекаемые верой в рай, не обмениваясь ни единым словом, не оглядываясь назад, и, отойдя от перил, растеклись по палубе, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, заливающая цистерну и переливающаяся через края. Восемьсот мужчин и женщин, каждый со своими надеждами, привычками, воспоминаниями, пришли сюда с севера, юга, с далекого востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль песчаных кос, переплывали в маленьких каное с острова на остров, страдали от жажды, боялись утонуть или заболеть.

Все они стремились к одной цели. Они явились из одиноких хижин, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Они бросили свое имущество, свою нищету, друзей, родственников, могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и грязью, в лохмотьях сильные мужчины во главе своих семей, тощие старики, не надеявшиеся на возвращение, юноши с горящими глазами, пугливые девочки со спутанными длинными волосами, робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимавшие к груди спящих младенцев – бессознательных паломников взыскательной веры, обернутых в концы грязных головных покрывал.

– Поглядите-ка на этих убогих, – с презрением сказал капитан своему помощнику.

Араб, глава благочестивых странников, взошел на борт последним. Он поднялся медленно, красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним вереницей семенили слуги, тащившие его багаж.

Наконец «Патна» отчалила от мола. Проскользнув между двумя островками, она пересекла стоянку парусников, прорезала отброшенный камнем полукруг в тени и приблизилась к покрытым пеной рифам. Стоя на корме, араб вслух читал молитву странников. Он призывал милость Аллаха на это путешествие, молил благословить подвиг людей и их священные устремления. В сумерках пароход рассек тихие воды пролива, далеко за кормой маяк, уставленный на предательской мели, казалось, подмигивал огненным глазом, словно насмехаясь над благочестивым паломничеством.

«Патна» пересекла залив и направилась к Красному морю под ясным безоблачным небом, укутанным в палящий блеск солнечного света, который убивает мысли, иссушает энер-

гию, забирает силы. Под сверкающим небом синее глубокое море оставалось неподвижным, мертвым, стоячим, даже рябь не морщила его гладь. С легким шипением «Патна» неслась по этой лучезарной и гладкой равнине, развернула по небу черную ленту дыма, распустила за собой по воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезала, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным пароходом.

Каждое утро солнце, извергая свет, высоко поднималось над кормой, в полдень стояло в зените, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивых путников, затем постепенно уходило дальше на запад и вечером таинственно погружалось в море на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Над палубой от носа до кормы раскинулся белым сводом тент, под которым устроились пассажиры. Сменялись дни, безмолвные, горячие, тяжелые, один за другим исчезали в прошлом, словно проваливаясь в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна. «Патна» упорно шла вперед, черная и дымящаяся, в лучезарном пространстве, будто опаленная пламенем. Это пламя безжалостно лизало ее с неба. Ночи спускались на нее, как благословение Всевышнего.

Глава III. Дрожь под водой

Чудесная тишина объяла мир. Звезды, казалось, посылали на землю заверение в вечном умиротворении. Молодой изогнутый, низко сверкающий на западе месяц походил на тонкую стружку, отделившуюся от золотого слитка. Аравийское море, ровное и холодное, словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся непрерывно, как ось, на которой вращалась Вселенная, а по обе стороны «Патны» на мерцающей глади протянулись две неподвижные глубокие складки воды; между этими расходящимися морщинами виднелись белые завитки вскипающей пены, легкая рябь, зыбь и маленькие волны. Эти волны, оставаясь за кормой, секунду-другую еще шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, объятые тишиной моря и неба, а черное пятно – движущееся судно – по-прежнему находилось в самом центре тишины.

Джим, стоя на мостике, наслаждался прекрасной погодой и уверенностью в полной безопасности, запечатленной на спокойном безмолвном лице природы. Под тентом по примеру белых людей, спасаясь от раскаленной скорлупы корабля, спали паломники – на циновках, одеялах, на голых досках, во всех закоулках, спали, завернувшись в ткани или в грязные лохмотья. Головы людей покоились на дорожных узелках, лица были прикрыты согнутыми руками. Мужчины, женщины, дети, старые и молодые, дряхлые и здоровые – все были равны перед лицом сна, брата смерти.

Из-за быстрого хода судна ветер дул со стороны носа, прорезая мрак между высокими бульварками и проносясь над рядами распростертых тел. Тускло горели подвешенные к перекладам лампы. В неясных кругах отбрасываемого вниз света виднелись то задранный вверх подбородок, то сомкнутые веки, то темная рука с серебряными кольцами, то жалкая нагота, закутанная в рваное одеяло, то откинута назад голова, чья-то голая ступня или обнаженная и вытянутая, словно подставленная под лезвие ножа, шея. Зажиточные пассажиры устроили для своих семей уголки, отгородились тяжелыми ящиками и пыльными циновками, бедняки же лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узлы, засунули себе под головы. Дряхлые старики спали, подогнув колени, на моельных ковриках, прикрывая руками уши. Какой-то мужчина, втянув голову в плечи и уткнувшись лбом в колени, дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба громоздилось на корме, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груды наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, клинки копий, ножны старого меча, груды подушек, жестяной кофейник.

Патентованный лаг на поручнях кормы периодически выбивал звенящие удары, отмечая каждую пройденную судном милю. По временам над телами спящих всплывали слабые вздохи – испарения тревожного сна; из недр судна вырывался резкий металлический стук: слышно было, как скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, работавшие там, внизу, преисполнились ярости и гнева. Стройный высокий кузов парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно рассекал великий покой вод, спящих, как и паломники, под недостижимым ясным небом.

Джим шагал взад-вперед; в необъятном молчании его шаги раздавались особенно громко, и казалось, будто настороженные звезды отзываются на шум эхом. Глаза помощника капитана, блуждая вдоль линии горизонта, жадно вглядывались в недостижимую даль и не замечали тень надвигающейся катастрофы. Над морем висел черный дым, тяжело выбрасывающий из трубы свой широкий флаг, конец которого растворялся высоко в воздухе. Два малайца, молчаливые и медлительные, стояли по обе стороны штурвала; медный обод колеса блестел в овальном пятне света, отбрасываемого лампой нактоуза. По временам черная рука, то отпус-

кая, то снова сжимая спицы, вырисовывалась на светлом пятне; звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в полостях цилиндров.

Джим поглядывал на компас, на далекий горизонт и потягивался так, что хрустели суставы, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия. Ничем не нарушаемое спокойствие природы убаюкивало его; он чувствовал: что бы сейчас ни случилось, ему совершенно не о чем беспокоиться. Изредка он нехотя взглядывал на карту, укрепленную кнопками на низком трехногом столике, стоявшем позади руля. При свете круглой лампы, подвешенной к стойке, морское дно, изображенное на карте, выглядело таким же ровным и безмятежным, как мерцающая гладь вод за кормой. На карте лежала линейка для прочерчивания параллелей и циркуль. Положение судна в полдень было отмечено маленьким черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до Перима, обозначала курс «Патны»: тот путь, каким паломники следовали к священному месту, к обещанному блаженству, к вожденному раю. Карандаш, острием касавшийся берега Сомали, лежал на карте длинный и неподвижный, словно мачта в заводи защищенного дока.

«Какой мерный ход у судна!» – с удивлением думал Джим, восхищаясь великим покоем моря и неба. В такие минуты его мысли вращались вокруг доблестных морских подвигов, он любил свои мечты и воображаемые успехи. Это было самое ценное в его жизни, ее тайная сущность, скрытая реальность. В мечтах он видел себя мужественным героем, перед его мысленным взором нескончаемой вереницей проходили славные свершения, которые опьяняли его душу божественным напитком – гордостью за себя самого. Он храбрый моряк, и нет ничего, чему он не мог бы противостоять. Сейчас эта мысль так понравилась ему, что, глядя вперед, он улыбнулся и долго смотрел на белую полосу, проведенную по морской глади килем судна, – такую же прямую и четкую, как черная линия, нанесенная карандашом на карту.

Ведро с золой упало и ударились о вентилятор топки. Этот металлический звук напомнил Джиму, что скоро конец его вахты. Он с облегчением вздохнул, немного сожалея о том, что придется расстаться с невозмутимым спокойствием, дающим свободу его мечтам. Ему хотелось спать, он ощущал приятную истому во всем теле, и ему казалось, будто вся его кровь превратилась в теплое молоко.

На мостик бесшумно поднялся шкипер; он был в пижаме, и расстегнутая куртка обнажала его грудь. Он еще не совсем проснулся, лицо у него было красное, левый глаз полузакрит, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то неприятное в его голом теле. Грудь его неопрятно лоснилась от пота. Он что-то сказал хриплым безжизненным голосом, напоминавшим скрежещущий звук пилы; его двойной подбородок свисал, как мешок, подтянутый к самому основанию челюсти. Джим встрепнулся и почтительно ответил начальнику, но отвратительная жирная фигура шкипера навсегда запечатлелась в памяти молодого человека как воплощение чего-то порочного и подлого, несовместимого с тем, что мы ценим в окружающем мире, в дорогих нам людях, картинах, звуках, наконец просто в воздухе, наполняющем наши легкие.

Тонкая золотая стружка месяца, медленно опускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, ярче замерцали звезды, гуще заблестел полупрозрачный купол, нависший над плоским диском темного моря. Судно скользило так, что движения вперед не ощущалось, будто «Патна» была планетой, которая неслась сквозь черные пространства эфира за роем ярких солнц.

– Ну и пекло внизу! – раздался чей-то голос.

Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер невозмутимо стоял, повернувшись к помощнику своей широкой спиной. Немец обычно сначала не замечал ничьего присутствия, а затем, пожирая глазами подчиненного, с пеной у рта разражался таким потоком брани, который вырывался, как из водосточной трубы. Сейчас он что-то угрюмо проворчал. Второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, стал жаловаться на

моряков-бездельников. Сидят здесь наверху, какой от них толк? Ведут судно механики, и они сумели бы справиться и со всем остальным, они...

– Замолчите, – тупо проворчал шкипер.

– Ну еще бы! Замолчать! А если что неладно, вы сразу бежите к нам! – продолжал возмущаться механик. Он уже наполовину спекся там, внизу. И вообще ему теперь все равно: сколько бы он ни нагрешил, за последние три дня он получил наглядное представление о том местечке, куда после смерти отправляются дрянные людишки. Ей-богу, получил и вдобавок оглох там, внизу, от адского шума. Проклятое старое корыто грохочет и тарыхтит, словно старая лебедка на палубе. Какого черта ему рисковать своей жизнью ночи и дни напролет среди всей этой рухляди?! Должно быть, он от рождения такой невезучий. Он...

– Да уймись вы! Где успели нализаться? – разозлился немец.

Шкипер кипел от гнева, хотя стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза и похожий на массивную тушу упрямого быка, а Джим по-прежнему безмятежно улыбался, глядя на отступающий горизонт.

– Нализаться, – презрительно повторил механик, обеими руками уцепившись за поручни. – Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скупой, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите ему капельку влаги. Это у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Второй механик чувствовал настоятельную потребность поговорить и излить душу. Оно и понятно: часов в десять вечера первый механик налил ему рюмочку. Всего-навсего одну, ей-богу! Добрый старичок, но теперь старого плута не стащить с койки, не поднять даже пятитонным краном! Во всяком случае, не сегодня. Он спит, словно младенец, а под подушкой у него лежит бутылка с первоклассным бренди.

Командир «Патны» смачно выругался, и слово «schwein» запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Шкипер и первый механик были знакомы много лет: когда-то они вместе служили веселому бодрому старику-китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою седую косицу. Жители побережья придерживались того мнения, что эти двое, шкипер и механик, по части плутовства – два сапога пара, хотя внешне они были совсем разные: один – грузный и мясистый, с мутными глазами, другой – тощий, как старая кляча, костлявый, с впалыми щеками и остекленевшим взглядом.

Первого механика выбросило на берег где-то на востоке: в Кантоне, или Шанхае, или в Июкогаме, – он и сам не помнил, где именно и почему произошло крушение корабля, на котором он плыл. Ему, в то время молодому юноше (дело было лет двадцать назад), удалось спастись, а тогда в восточных морях только-только начинало развиваться пароходство, механиков вначале не хватало, поэтому его карьера пошла в гору. Всем знакомым он с гордостью сообщал, что он – здешний «старожил». Когда первый механик ходил по судну, казалось, будто скелет болтается в его мундире. Раскачиваясь, он бродил вокруг застекленного люка или машинного отделения, курил, набивал табаком медную чашечку, приделанную к мундштуку из вишневого дерева, и носил на лице глупо-торжественную мину мыслителя – творца новой философской системы. Обычно он пил в одиночку и держал запас спиртного только для себя, но в ту ночь изменил своей привычке и уважил сослуживца. Вот почему второй механик, угостившись бренди, сделался веселым, дерзким и болтливым, а ума у него, признаться, и на трезвую голову было немного...

Немец из Нового Южного Валлиса бесновался и сопел, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься в каюту: последние десять минут вахты казались ему особенно утомительными. Ни капитану, ни механикам не было места в воображаемом мире Джима, полном героических приключений, хотя Джим считал своих старших сослуживцев неплохими парнями. Даже капитана... Конечно, иногда Джима раздражала эта жирная туша, изрыгающая брань, но черт с ним в конце концов; приятная усталость конца

вахты не давала Джиму ощущать явную неприязнь к кому бы то ни было. Что ему за дело до капитана и механиков? Да, он работает с ними бок о бок, но больше их ничто не связывает, они, можно сказать, даже дышат разным воздухом, ведь Джим рожден для подвигов, он незаурядный, не такой, как все. Интересно, подерется шкипер со вторым механиком или нет? Жизнь вдруг показалась Джиму такой легкой и приятной, и он был слишком уверен в себе, чтобы... Черта, отделявшая его размышления от дремоты, сделалась тоньше паутинки.

Тем временем второй механик перешел к рассуждениям о своем финансовом положении и чувстве собственного достоинства.

– Кто пьян? Я? Ничего подобного, капитан! Пора уж вам знать, что наш первый механик не слишком-то щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал, нет такого зелья, от которого бы я опьянел! Давайте пить на пари: вы – виски, а я жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим, как огурчик. Хоть сейчас! А с мостика я не уйду. Где мне еще подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Не на палубе же со всяким сбродом?! И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец воздел свинцовые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

– Я никого и ничего не боюсь, – с пьяным занудством твердил механик. – Не боюсь проклятой работы на этой гнилой посудине. Радуйтесь, что на свете есть такие люди, которые не дрожат за свою шкуру, иначе... Что бы вы без нас делали, вы и эта старая калоша с обшивкой из просмоленной бумаги? Вам-то хорошо, вы и из нее вытягиваете монету, а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Покорно благодарим. Позвольте спросить вас, почтительно, заметьте, кто станет цепляться за такую работу? Опасную причем! Но я один из тех бесстрашных парней...

Он отпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать, насколько он храбр, его тонкий визгливый голос взлетал над морем, механик встал на цыпочки и принялся кричать еще громче, как вдруг... полетел вниз головой, будто его сзади подшибли палкой. Падая, он заорал:

– Дьяволыщина!

За воплем последовало минутное молчание. Джим и капитан пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх на звезды. Что случилось? По-прежнему раздавался приглушенный стук машин. Такое впечатление, что земля споткнулась на своем пути. Они ничего не понимали, и внезапно тихое море и безоблачное небо показались им обоим жутко ненадежными в своей неподвижности. Механик с трудом поднялся и съехал в неясный комок, который произнес сдавленным голосом:

– Что это такое?

Тихий шум, словно бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук – не вибрация ли воздуха? – и судно задрожало в ответ, как будто глубоко под водой грохотал гром. Два малайца у штурвала, блестя глазами, смотрели на белых людей, но темные руки по-прежнему уверенно сжимали спицы. Острый кузов «Патны», стремясь вперед, казалось, постепенно приподнимался на несколько дюймов, словно делался гибким, а потом снова опускался и по-прежнему рассекал гладкую поверхность вод. Дрожь прекратилась, и слабые раскаты грома сразу смолкли, будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и звучащего воздуха.

Глава IV. Допрос

Месяц спустя, когда Джим в ответ на вопросы пытался рассказать о происшедшем, он выразился так:

– Судно прошло через что-то так же легко, как змея переползает через палку.

Сравнение вышло удачное. Допрос преследовал целью выяснить фактическую сторону дела, разбиравшегося в административном суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял за конторкой на возвышении в прохладной высокой комнате, большие пунки² тихо вращались над его головой, снизу на него смотрели глаза, в его сторону были повернуты лица: темные, белые, красные, внимательные, словно все эти люди, сидевшие на узких скамейках, были загипнотизированы его голосом. Голос звучал четко, и Джиму он казался жутким – он воспринимал его как единственный звук во всей Вселенной, а вопросы, которые ему задавали, резкие, тревожные и острые, вызывали у него нервную дрожь. Снаружи пламенело солнце, а здесь, в помещении, ветер, нагнетаемый пунками, заставлял ежиться, от стыда Джима бросало в жар, внимательные глаза окружающих кололи, будто иголки. Председатель суда, гладко выбритый человек с бесстрастным лицом, которое рядом с загорелыми темными лицами двоих морских ассессоров³ выглядело мертвенно-бледным, продолжал вести допрос. Сверху, из широкого окна под потолком, на судей падал свет, и их головы и плечи отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, аудитория которой напоминала сонмище призраков с неподвижными глазами. Судьям нужны были факты. Факты! Как будто эти факты могли объяснить все.

– Решив, что вы натолкнулись на что-либо, например, на обломок другого судна, вы по приказу капитана отправились в носовую часть проверить, не получила ли «Патна» повреждений. Вы допускали их вероятность, принимая во внимание силу удара? – спросил ассессор, сидевший слева, человек с жидкой бородкой, по форме напоминавшей подкову, и выдающимися вперед скулами.

Опираясь локтями о стол, ассессор сжимал свои волосатые руки и в упор смотрел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй заседатель, грузный мужчина с выражением презрения на лице, сидел, откинувшись на спинку стула, и, вытянув левую руку, барабанил пальцами по блокноту. Посредине председатель в широком кресле склонил голову на плечо и скрестил руки на груди, рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

– Поначалу не допускал, – ответил Джим. – Мне приказали никого не звать и не шуметь, чтоб не вызвать паники. Этот приказ я счел разумным. Я взял одну из ламп, висевших под тентом, и пошел на нос «Патны». Открыв люк в передний трюм, я услышал плеск. Тогда я спустил лампу, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробойна.

Он замолчал.

– Так... – протянул толстый ассессор, с мечтательной улыбкой глядя в блокнот. Мужчина, не переставая, стучал пальцами, но прикасался к бумаге почти бесшумно.

– В тот момент я не думал об опасности. Наверное, я был взволнован: все это произошло так неожиданно! Я знал, что на судне нет другой переборки кроме той, что отделяла носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто был оглушен и сказал мне, что, похоже, сломал себе левую руку. Спускаясь, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал, пока я был в носовой части. Механик воскликнул: «Боже мой! Через минуту эта гнилая переборка рухнет и проклятое корыто,

² Вентиляторы на Востоке.

³ Ассессоры – заседатели, которые судят совместно с судьей.

словно глыба свинца, пойдет вместе с нами ко дну». Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, с криком взбежал по трапу. Я следовал за ним и видел, как капитан набросился на него и повалил на спину. Он его не бил, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему выговаривать. Думаю, он его спрашивал, почему он не пойдет и не остановит машины, вместо того чтобы устраивать скандал. Я слышал, как капитан крикнул: «Вставай! Беги живей!» – и выругался. Механик бросился вниз и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал...

Джим говорил медленно, и воспоминания его были удивительно отчетливы. Если бы эти люди, требующие фактов, пожелали, он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось возмущение, Джим пришел к выводу, что лишь скрупулезная точность рассказа поможет выявить подлинный ужас происшедшего. Факты, которые требовались судьям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали место во времени и пространстве. Но помимо этого было и что-то иное, невидимое – дух, ведущий к гибели, словно злобная душа в отвратительном теле. И это Джиму хотелось установить. Событие не являлось ординарным. Каждая мелочь имела величайшее значение, и, к счастью, он запомнил все. Он желал говорить ради истины, а также ради себя самого; его слова были обдуманно, а мысль металась в сжимавшемся круге фактов, обступавших его плотной стеной, чтобы отрезать от остальных людей. Джим походил на животное, которое, очутившись за высокой изгородью и обезумев, мечется туда-сюда в поисках какой-нибудь щели, дыры, куда можно юркнуть и спастись. Эта напряженная работа мысли по временам заставляла его запинаться, хотя в целом он отвечал на вопросы четко и подробно.

– Капитан по-прежнему ходил взад-вперед по мостику, держался спокойно, но несколько раз споткнулся. Когда я заговорил с ним, он наткнулся на меня, точно слепой, и ничего толком мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов: «Проклятый пар!» и «Дьявольский пар!» – в общем, что-то о паре. Я подумал...

Джима прервали новым вопросом о фактической стороне дела, и по его лицу прошла судорога боли, его охватили бесконечное уныние и усталость. Он приближался к этому, приближался и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать предельно односложно: да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Высокий красивый юноша с мрачными глазами, он стоял, выпрямившись, на возвышении, а душа его стонала от муки. Ему пришлось ответить еще на один вопрос *по существу* и снова ждать. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, и он ощутил горько-соленый вкус морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по сухим губам и почувствовал, как дрожь пробегает у него по спине.

Тучный ассессор опустил глаза, продолжая беззвучно барабанить по блокноту, взгляд второго ассессора, переплетавшего свои загорелые пальцы, казалось, ничего не выражал; председатель слегка наклонился и приблизил бледное лицо к цветам. Ветер, нагнетаемый пунками, обвевал темнолицых туземцев в широких одеяниях и вспотевших европейцев в тиковых костюмах, облежавших их тела плотно, как кожа. Они сидели рядом на скамьях, держа на коленях круглые пробковые шляпы. Вдоль стен шныряли босоногие туземцы-констебли в длинных белых балахонах с красными поясами, в красных тюрбанах; они сновали взад-вперед, бесшумные, как призраки, и проворные, как гончие.

Взгляд Джима задержался на белом человеке, сидевшем в сторонке; лицо у него было усталое, спокойные глаза смотрели в упор. Джим ответил на очередной вопрос судей и почувствовал искушение крикнуть на весь зал: «Что толку в этих вопросах и ответах? Какой от них прок?» Но не крикнул, закусил губу и посмотрел на публику на скамьях. Он опять встретился взглядом с тем белым человеком. Глаза незнакомца, живые и ясные, не походили на мутные или остекленевшие глаза всех прочих. В его взгляде была воля, что чувствовалось сразу. В перерыве между двумя вопросами Джим в очередной раз посмотрел на белого человека и подумал: «Этот парень глядит на меня так, словно видит кого-то за моим плечом. Я где-то

видел этого мужчину, может, на улице, хорошо бы поговорить с ним. Я уже много дней ни с кем не разговаривал – лишь с самим собой, словно узник в одиночной камере или странник в пустыне». Сейчас Джим отвечал на вопросы, лишённые всякого смысла, хотя и нужные следствию, и мечтал о том, что встретит человека, с которым можно поделиться самым сокровенным. Да, правдиво высказаться обо всем, а иначе зачем ему дар речи? Тот белый человек как будто понимал мучительность положения Джима. Джим снова взглянул на него и вдруг решительно отвернулся, словно навеки распрощавшись.

Не раз впоследствии в далеких уголках земли капитан Марлоу с удовольствием вспоминал о Джиме, рассказывал о нем подробно и вслух. Случалось это обычно после ужина на веранде, задрапированной неподвижной листвой и цветами, в глубоких сумерках, исколотых огненными точками сигар. В тростниковых креслах сидели молчаливые слушатели. Изредка маленькое красное пятнышко поднималось и, разгораясь, освещало пальцы вялой руки или вспыхивало красноватым блеском в задумчивых глазах, озаряло кусочек гладкого лба. Приступая к рассказу, Марлоу спокойно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, его окрыленный дух возвращался в глубину времен, и прошлое начинало вещать его устами.

Глава V. Миллионы розовых жаб

– Я был на разборе дела «Патны», – сообщал он, – и до сих пор удивляюсь, зачем я пошел туда. Я верю, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но, согласитесь со мной, к каждому из нас приставлено и по дьяволу. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не желаю быть человеком исключительным, а я знаю: у меня есть дьявол. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются. Он ко мне приставлен, а так как по природе своей он зол, то и впутывает меня в подобные истории. Какие именно? – спросите вы. Ну, скажем, судебное следствие, история с желтой собакой... Вы сочтете маловероятным, чтобы облезлой туземной собаке позволили крутиться у ног людей на веранде того здания, где заседал суд. Вот какими сложными, извилистыми путями дьявол заставляет меня сталкиваться с людьми, наделенными уязвимыми местечками, скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня развязываются языки и начинаются признания – как будто мне самому не в чем себя упрекнуть, как будто у меня самого не найдется таких деяний, за которые мне будет стыдно до конца жизни. Хотелось бы знать, чем я заслужил такую милость? Заметьте, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у любого паломника в этой долине. Как видите, я не особенно заслуживаю выслушивать признания. Так в чем же дело? Не знаю, может, это нужно лишь для того, чтобы скоротать послеобеденное время. Дорогой мой Чарли, ваш обед был очень хорош, и в результате этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в удобных креслах и думают: «К черту всякие упражнения! Пусть Марлоу рассказывает». Значит, рассказывать? Пусть будет так!

Приятно говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, когда под рукой ящик с приличными сигарами, а вечер прохладен и залит звездным светом. В таких условиях легко позабыть о том, что все мы в этом мире подвержены испытаниям, что порой нам приходится пробивать себе дорогу под перекрестным огнем, ценить каждую минуту, нести ответственность за любой непоправимый шаг и верить, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться из всех бед и передрыг. Однако подлинной уверенности в благополучном исходе у нас нет, и те, с кем сталкивает нас жизнь, далеко не всегда способны нам помочь.

Впервые я встретился с Джимом взглядом на этом судебном следствии. Все, кто в той или иной мере был связан с морем, явились на заседание суда, ибо еще задолго вокруг дела «Патны» поднялся шум – с того самого дня, как пришла неожиданная телеграмма из Эдена, вызвавшая столько пересудов. Я употребляю слово «неожиданная», хотя она преподносила всего лишь голый факт – такой безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем другом и не говорило. Начать с того, что, одеваясь утром в своей каюте, я услышал через переборку, как мой парс Дубаш лопотал с баталером⁴ о «Патне». Не успел я сойти на берег, как встретил знакомых, спросивших у меня: «Слышали о “Патне”? Не правда ли, это просто поразительно!» Некоторые цинично улыбались, другие делали грустные лица либо раздражались ругательствами. Люди совершенно незнакомые фамильярно заговаривали только для того, чтобы изложить свой взгляд на этот инцидент. Те же речи я слышал и в управлении портом, и от каждого судового маклера, от агентов, от белых, от туземцев, даже от полуголых лодочников, сидящих на каменных ступенях мола. Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что же, собственно, произошло с «Патной».

Прошло недели две, если не больше, и все стали склоняться к мнению, что это таинственное дело обернется трагической стороной. И тут в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления портом, я увидел четверых человек, шедших по набережной мне навстречу. Я уди-

⁴ Баталер (*фр. batailleur*) – лицо, ведающее на кораблях и базах продовольственным, вещевым и другим снабжением.

вился, откуда взялась такая странная делегация, и вдруг, если можно так выразиться, мысленно возопил: «Да ведь это они!» Да, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку просто-напросто стыдно быть. Сытно позавтракав, они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань через час после восхода солнца. Сомнений не оставалось: с первого взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого жирного человека в тропиках, опоясывающих нашу славную старушку-землю. Месяцев девять назад я встретился с ним в Семаранге. Пароход его грузился на рейде, а он на чем свет стоит ругал германскую империю со всеми ее институтами и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке де Джонга. Наконец де Джонг, который, и глазом не моргнув, лупил со шкипера по гульдену за бутылку, отозвал меня в сторонку и, сморщив свое маленькое лицо, заявил: «Торговля – торговлей, капитан, но от этого типа меня мутит. Тьфу!»

Стоя в тени на набережной, я внимательно смотрел на толстяка. Он шел немного впереди своих спутников, и солнечный свет, падая прямо на него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он походил на дрессированного слоненка, вышагивающего на задних ногах. Костюм его был отвратителен: не первой свежести пижама с ярко-зелеными и оранжевыми полосками, рваные соломенные туфли на босу ногу и очень грязная, как будто найденная на помойке пробковая шляпа, которая была ему мала и держалась на его огромной голове с помощью манильской веревки. Не представляю, где он вообще ухитряется доставать одежду таких размеров. Так вот он стремительно летел вперед, не глядя по сторонам; прошел в трех шагах от меня и атаковал лестницу, ведущую в управление портом. Толстяк явился туда сделать доклад.

По-видимому, он прежде всего обратился к помощнику начальника порта Арчи Рутвелу, который только что прибыл в контору и, как он впоследствии рассказывал, собирался начать трудовой день с нагоняя своему главному клерку. Вы знаете этого типа – услужливый маленький португалец-полукровка с тощей шеей, вечно старающийся выудить у шкиперов что-нибудь съестное: кусок солонины, мешок с сухарями либо что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу из своих судовых запасов. Меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. Согласитесь, это расовая черта – даже двух рас, пожалуй, да и климат имеет значение. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел читал клерку суровую проповедь – полагаю, на тему о моральном облике должностных лиц, – когда услышал за спиной сопение, чьи-то тяжелые шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и вздымающуюся посреди просторной канцелярии. Рутвел был до того ошеломлен, что долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, какого черта этот субъект водружился перед его конторкой. За аркой, выходявшей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунки, туземцы-констебли, боцман и команда портового катера – все они вытягивали шеи и напирали друг на друга. Подлинное столпотворение. Тем временем толстый шкипер ухитрился снять с головы шляпу и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище подействовало так сильно, что он, слушая, долго не мог понять, чего хочет этот тип. Тот вещал хриплым замогильным голосом, но держался развязно, и мало-помалу до Арчи дошло, что дело «Патны» принимает новый оборот. Как только Арчи сообразил, кто перед ним стоит, ему стало не по себе, ведь он такой чувствительный, однако он взял себя в руки и крикнул:

– Довольно! Я не могу вам ничем помочь. Идите к начальнику порта... Капитан Эллиот – вот кто вам нужен. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка-шкипера; удивленный немец сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт шепнул ему поостеречься: он уперся и зафыркал, словно испуганный бык:

– В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул двери.

– Капитан «Патны», сэр! – доложил он. – Пожалуйста, капитан.

Он увидел, что старик Эллиот, что-то писавший, резко приподнял голову, и пенсне слетело у него с носа. Арчи захлопнул дверь и бросился к конторке, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но шум, поднявшийся в кабинете, был таков, что чиновник не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – наверное, самый щепетильный помощник начальника порта на обоих полушариях. Позже он рассказывал, что чувствовал себя так, будто впихнул человека в логово голодного льва. Действительно, крики, доносившиеся из кабинета, были слышны на другом конце площади. Старый Эллиот имел богатый словарный запас, орать умел заправски, и ему было все равно, на кого кричать. Он стал бы распекать и самого вице-короля! Частенько он говаривал мне: «Занять более высокий пост я уже не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил на черный день, и если начальству и подчиненным не нравится мое представление о долге, я охотно отправлюсь на родину. Я уже старик, и всю свою жизнь я выкладывал все, что было у меня на уме. Теперь я мечтаю только об одном – чтобы мои дочери вышли замуж, пока я жив».

Да-да, это был пунктик его помешательства. Три его дочери удивительно на него походили, но, как ни странно, были прехорошенькие. Иногда, проснувшись поутру, он приходил к печальным выводам относительно перспективы их замужества, и тогда вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам подчиненных, в такие дни старик Эллиот непременно требовал себе кого-нибудь на расправу. Однако в то утро он не «съел» немца, но, если разрешите мне развить метафору, разжевал его основательно и... выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как толстяк торопливо спускается по лестнице. Он оставался на нижних ступенях и стоял подле меня, погруженный в какие-то мысли, его толстые багровые щеки дрожали, как студень. Он грыз свой большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил в мою сторону раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали его поодаль. У одного из них, желтолицего вульгарного человечка, рука была на перевязи, другой – в синем фланелевом пиджаке, долговязый, с седыми свисающими усами, худой, как палка, с самодовольно-глупым видом озирался по сторонам. Третий – стройный широкоплечий юноша засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые о чем-то толковали. Ветхая запыленная гхарри с деревянными жалюзи притормозила как раз напротив группы. Положив правую ступню на колено, извозчик от нечего делать рассматривал свои грязные пальцы, а широкоплечий юноша отстраненно глядел на пустынную площадь. Так я впервые увидел Джима. Он показался мне таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Опрятный, аккуратно одетый, он держался довольно уверенно – это был один из самых располагающих к себе мальчиков, каких мне когда-либо доводилось встречать. Глядя на него и зная все, что знал он, а также кое-что ему неизвестное, я почувствовал раздражение, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным. И я сказал себе мысленно: «Что же, если и такие юноши сбиваются с пути, то тогда...» От возмущения я готов был швырнуть свою шляпу на землю и растоптать ее, как сделал однажды на моих глазах шкипер итальянской баржи, когда его помощник, собираясь отшвартоваться на рейде, где стояло много судов, запутался с якорями. Видя Джима таким спокойным, я спрашивал сам себя: «Глуп он или груб до бесчувствия?» Казалось, парень вот-вот начнет насвистывать. Прошу заметить: меня нисколько не интересовало поведение двух других типов. Те двое как типажи полностью вписывались в ту неприятную историю, которая уже сделалась притчей во языцех и послужила достаточным основанием для начала официального расследования.

– Этот старый негодяй наверху обозвал меня подлецом, – заявил капитан «Патны».

Узнал ли он меня? Думаю, да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Жирный шкипер буравил меня злыми глазами, а я улыбался: «подлец» было самым мягким определением из всех, что долетели до моего слуха из открытого окна в кабинете Эллиота.

– Неужели? – деланно удивился я, почему-то не сумев придержать язык за зубами.

Шкипер утвердительно кивнул, снова укусил себя за палец и тихонько выругался, затем нагло посмотрел на меня и воскликнул:

– Ба! Тихий океан велик! Вы, проклятые англичане, можете делать все, что вам угодно. Я знаю, где найдется место для такого человека, как я; меня хорошо знают в Апия, в Гонолулу...

Он остановился, а я легко представил себе, какие люди знают его в тех местах. Скрывать нечего – я сам знаком с этой породой. Бывает, человек вынужден поступать так, словно жизнь одинаково приятна в любой компании. Я через это прошел и не хочу с гримасой вспоминать о своем прошлом. Многие из этой дурной компании, хотя по тем или иным причинам и не имеют морального... так сказать... статуса, вдвое умнее и в двадцать раз занимательнее, чем напыщенные коммерческие воры, которых вы, почтенные господа, охотно принимаете у себя, при том что подлинной необходимости поступать подобным образом у вас нет. Вами руководят привычка, трусость, нежелание прослыть чудаками и сотня других скрытых и смутных побуждений.

– Я, видите ли, подлец, – брызгая слюной, продолжал патриот-австралиец из Фленсбурга или Штеттина (право, сейчас не припомню, какой маленький порт у берегов Балтики осквернился, породив эту редкостную свинью). – Да вы, англичане, – все сплошь негодяи! Чего вы из себя изображаете? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый кретин Эллиот черт знает что себе позволяет. Оскорблять меня! – Вся туша капитана «Патны» тряслась с головы до ног. – Вот так вы, англичане, всегда поступаете: шумите, кричите из-за всякого пустяка, и только потому, что я не родился в вашей проклятой стране. Иначе сейчас все было бы шито-крыто. Отнимут, видите ли, свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него! – Он плюнул. – Я приму американское подданство! – завопил он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых тисков, которые не позволяли ему сдвинуться с места. Он так разгорячился, что его макушка буквально дымилась.

Меня удерживало любопытство – самая сильная из всех эмоций, и я не уходил: мне хотелось узнать, как примет новость тот юноша, который, засунув руки в карманы и стоя спиной к тротуару, взирал поверх зеленых клумб площади на фасад отеля «Малабар». Он взирал с видом человека, собиравшегося прогуляться, и словно ждал, что к нему присоединится друг. Вот как он выглядел, и это было странновато. Я ждал. Я думал, парень будет потрясен, пришиблен, станет дергаться, как посаженный на булавку жук. И... я почти боялся это увидеть.

Не знаю, понятно ли вам, что я хочу выразить. Не очень приятно наблюдать за человеком, уличенным не в преступлении, но, скажем так, в преступной слабости. Самая элементарная порядочность не дает людям идти на преступления, но от неведомой слабости, иногда лишь подозреваемой, скрытой, за которой можно следить или не обращать на нее внимания, бороться с ней или мужественно ее презирать, – от этой слабости не застрахован ни один человек. Нас тянет в ловушку, и мы совершаем проступки, за которые нас ругают, сажают в тюрьму, иногда вешают, и, однако, человеческий дух способен пережить и осуждение и, клянусь Юпитером, даже смертный приговор. Но случается и иначе: самые незначительные, на первый взгляд, проступки кое-кого из нас убивают.

Я следил за молодым юношей, мне нравилась его внешность, мне был знаком этот тип людей – устои у таких парней очень хорошие. О таких людях, как он, будь то мужчины или женщины, не скажешь, что они умны или талантливы, но живут они честно, порядочно и мужественно. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-то особое мужество – я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушениям, о силе сопротивляемости, об

упорстве перед трудностями внутренними и внешними, перед соблазнами природы и заманчивым развратом... Такое упорство держится на вере, и ее не могут поколебать никакие дурные влияния. Все это не имеет прямого отношения к Джиму, но внешность его была типична для тех добрых малых, с которыми чувствуешь себя свободно и приятно, – людей, не тревожимых капризами ума или расстройством нервов. Такому человеку вы по одному его внешнему виду доверили бы палубу – я выражаюсь образно, как профессиональный моряк. Я бы доверил, а я знаю толк в этом деле. Много лет своей жизни я обучал юношей премудростям и хитростям моря – хитростям, весь секрет которых заключается в одной короткой фразе, и, тем не менее, каждый день нужно заново внедрять ее в их молодые головы.

Ко мне лично море было благосклонно, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших мою школу: иные теперь уже взрослые, некоторые утонули, но все они были славными моряками, – тогда мне кажется, что и я у моря не остался в долгу. Вернись я хоть завтра на родину, ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока, и над моей головой прозвучит свежий глубокий голос:

– Помните меня, сэр? Как! Да ведь я такой-то. Был совсем желторотым юнцом на таком-то судне. То было мое первое плавание.

Уверяю вас, радостно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни искусно выполнили свою работу. Одним словом, профессия научила меня распознавать людей по внешнему виду. Бросив только один взгляд на Джима, я бы доверил ему палубу и заснул крепким сном. А вдруг это было бы небезопасно? Неужели интуиция подвела меня? Джим выглядел таким же естественным и не фальшивым, как новенький sovereign, однако в его металле заключалась какая-то загадочная лигатура. Небольшая. Совсем маленькая капелька чего-то редкого и непонятного, крохотное вкрапление. Но когда Джим стоял, засунув руки в карманы, с видом «Мне на все наплевать», я забеспокоился: «Уж не отчеканен ли он весь из меди?»

Поверить в такое я не мог. Признаюсь, я хотел увидеть, как он будет страдать, поскольку его профессиональная честь оказалась под угрозой. Двое других – эти парни не идут в счет, они совсем иной породы, чем Джим, – разглядели своего капитана и стали медленно приближаться к нам. Они на ходу переговаривались, но я их не замечал, словно они были невидимы невооруженным глазом. Помню, что они усмехались, обменивались шутками. У одного из них, похоже, была сломана рука, а другой – долговязый субъект с седыми усами – являлся главным механиком «Патны» и личностью во многом одиозной. Меня они, повторюсь, не интересовали. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю; сейчас он выглядел еще толще: казалось, он распух, принял неестественные размеры от какой-то страшной болезни или неведомого яда. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот – должно быть, он хотел с ними заговорить. Но вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые багровые губы беззвучно сжались, он решительно и вперевалку зашагал к гхарри и стал дергать дверную ручку с таким злобным нетерпением, что, казалось, вот-вот оторвет ее и повалит набок все сооружение вместе с пони.

Возница отвлекся от разглядывания своей ступни и, уцепившись обеими руками за козлы, повернулся и уставился на огромную тушу, которая вваливалась в его повозку. Маленькая гхарри тряслась, готовая рухнуть; розовая складка на жирной шее, огромные ляжки, полохатая спина и мучительные усилия этой пестрой горы мяса влезть в повозку вызывали не просто смех, а производили впечатление чего-то нереального и жуткого, как гротеск во время лихорадки. Наконец-то шкипер протиснулся внутрь. Я ждал, что маленький ящик на колесах лопнет, как спелый стручок, но он только осел чуть не до земли, жалко заскрипели рессоры, и внезапно дернулись жалюзи. Показались плечи шкипера, его голова вылезла наружу, огромная, раскачивающаяся, как воздушный шар на привязи, плотная, фыркающая, злобная. Толстым кулаком, красным, как кусок сырой говядины, он замахнулся на возницу и заревел, приказывая ехать как можно быстрее. Куда? В Тихий океан!

Возница занес хлыст, пони захрапел, поднялся на дыбы, затем галопом понесся вперед. В Апия? В Гонолулу? У шкипера было в запасе шесть тысяч миль тропиков, а точного адреса я не слышал. Фыркающий пони в одно мгновение унес капитана «Патны» в «вечность», и больше я его не видел. Мало того, я не встречал никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, оставив за собой облако пыли. Он уехал, исчез, испарился, и особенно странным казалось то, что он как будто прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу с тех пор на побережье не видели того самого гнедого пони с разорванным ухом и темного возницу с большой ступней. Тихий океан и в самом деле велик, но нашел ли шкипер арену для развития своих талантов, я не знаю: он умчался в пространство, точно ведьма на помеле. Маленький человечек с рукой на перевязи пустился было за экипажем, блея на бегу:

– Капитан! Эй, капитан! Послушайте!

Но, пробежав несколько шагов, остановился, опустил голову и побрел назад. Когда задрезжали колеса, молодой человек, стоявший поодаль, круто повернулся. Больше никаких движений он не делал и снова застыл на месте. Все это произошло значительно скорее, чем я рассказываю. Через секунду на площади появился клерк-полукровка, посланный Арчи заняться моряками с «Патны». Преисполненный усердия, он выскочил без шляпы, озираясь направо и налево. Миссия его была обречена на неудачу, поскольку главная персона уже покинула сцену. Он суетливо приблизился к остальным и почти тотчас же завязал разговор с парнем, у которого была повреждена рука. Тот повел себя агрессивно. Он заявил, что не желает подчиняться ничьим приказаниям. Нет, черт побери! Его не запугаешь враками! Он не намерен выслушивать грубости ни от Рутвела, ни от Эллиота, ни от кого-либо еще. Он болен и нуждается в лечении, ему нужно лечь в постель.

– Чертов португалец! – набросился моряк на клерка-полукровку. – Разве не ясно, что госпиталь – единственное подходящее место для меня? – Он сжал здоровую руку в крепкий кулак и поднес его к носу своего собеседника.

Стала собираться толпа, клерк растерялся и, пытаясь исправить ситуацию и не уронить своего достоинства, пробовал объясниться. Я ушел, не дождавшись, чем все закончится. В то время в госпитале лежал один из моих матросов; за день до начала следствия я зашел его проведать и увидел в палате того самого маленького человека: он метался, бредил, и рука его была в лубке. К моему величайшему изумлению, долговязый субъект с обвисшими седыми усами также ютился в госпитале. Помню, я обратил внимание на то, как он улизнул из палаты, – ушел, волоча ноги или прихрамывая, с видом абсолютно независимым. По-моему, он не был новичком в порту и направился прямехонько в пивную Мариане неподалеку от базара. Этот бродяга Мариане, похоже, давно водил знакомство с долговязым субъектом и где-то раньше, в другом порту потакал его порочным наклонностям; теперь он встретил его, как родного и, поставив перед ним батарею бутылок, запер в верхней комнате своего вертепа. Видимо, главный механик желал спрятаться от следствия. Однажды Мариане явился на борт моего судна, чтобы получить с баталера деньги за сигары, и шепнул мне, что действительно знает этого долговязого парня и обязан ему за какую-то гнусную услугу, которую тот тип когда-то ему оказал. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, вытаращил огромные черные глаза, в которых блеснули слезы, и воскликнул:

– Антонио всегда будет помнить!

Какова эта услуга, я так никогда и не узнал. Как бы то ни было, но Мариане предоставил главному механику «Патны» возможность находиться под замком в комнате, где стояли стол, стул, на полу лежал матрас, а в углу – куча осыпавшейся штукатурки. Долговязый субъект, отдавшийся безудержному страху, поддерживал свой дух теми напитками, какими снабжал его хозяин заведения. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня механик, испустив несколько отчаянных воплей, не решился обратиться в бегство от легиона стоножек. Он

взломал дверь, одним прыжком слетел с маленькой лестницы, рухнул прямо на живот Мариане, затем вскочил и, как кролик, ринулся на улицу. Рано утром полисмен нашел его в куче мусора. Сначала пьянчужке взбрело в голову, что его тащат на казнь, и он героически сражался за свою голову; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно и в таком настроении пребывал уже два дня. На фоне подушки его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело даже приятным; оно походило бы на лицо истомленного воина, не будь некой странной тревоги, светившейся в его стеклянных глазах, словно чудовище, безмолвно притаившееся за застекленной рамой. Механик был так удивительно сдержан, что я возымел нелепую надежду получить от него хоть какое-то объяснение по поводу нашумевшего дела «Патны».

Не могу сказать, почему мне так хотелось разобраться в деталях позорного происшествия, – меня лично оно не касалось, разве что как члена известной корпорации. Наверное, это было нездоровое любопытство. Мне очень хотелось что-нибудь разузнать. Возможно, подсознательно я надеялся нащупать некую тайную причину, какие-то смягчающие вину моряков обстоятельства. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточной, ибо я вознамерился взять верх над самым стойким призраком, созданным человеком, – гнетущим сомнением, обволакивающим, как туман, гложущим, словно червь, более жутким, чем уверенность в смерти, – сомнением в верховной власти твердо установленных норм. Верил ли я в чудо? И почему так страстно его желал? Вероятно, я искал хотя бы тень извинения для этого молодого человека, которого раньше никогда не встречал.

Боюсь, что таков был тайный мотив моих расследований. Да, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь чудесным, – это моя беспримерная глупость. Я хотел добиться от этого угнетенного мрачного инвалида какого-то заклęcia против духа сомнений. Должно быть, я шел к своей цели очень упорно, ибо после нескольких дружелюбных фраз, на которые механик, как и всякий порядочный больной, отвечал с вялой готовностью, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, словно закутав в шелк. Деликатным я был умышленно: я не хотел пугать долгоязого субъекта. До него мне не было дела, к нему я не чувствовал ни злобы, ни сострадания, его переживания не имели для меня ни малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и не мог внушать ни сочувствия, ни жалости. Он вопросительно повторил:

– «Патна»? – затем, казалось, напряг память и произнес: – Да-да... Я тамошний старожил. Я видел, как она пошла ко дну. – Услыхав такую нелепую ложь, я готов был возмутиться, но субъект спокойно добавил: – Она была полна пресмыкающихся.

Я призадумался. Что он мелет? В стеклянных глазах, в упор смотревших на меня, застыл ужас.

– Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она идет ко дну, – продолжал он задумчиво.

Голос его вдруг окреп. Я ругал себя за неосторожность. Сиделки вблизи не было, передо мной тянулся длинный ряд свободных железных коек. Лишь на одной из них сидел худощавый смуглый больной с повязкой на лбу – жертва несчастного случая где-то на рейде. Вдруг мой собеседник вытянул руку, тощую, как щупальца, и вцепился в мое плечо.

– Один я их рассмотрел. Все знают, какое у меня острое зрение. Вот почему меня и позвали! Никто из них не видел, как «Патна» шла ко дну, а когда она исчезла под водой, они все заорали. Вот так...

Дикий вой заставил меня содрогнуться.

– Заткните вы ему глотку! – взмолилась жертва несчастного случая.

– Вы мне не верите? – высокомерно спросил «инвалид». – Поверьте, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.

Конечно, я наклонился. А кто бы на моем месте этого не сделал?

– Ну что вы там видите? – спросил он.

– Ничего, – ответил я недоуменно.

Он посмотрел на меня с безграничным презрением.

– Вот именно, – заявил он. – А если бы поглядел я, то заметил бы. Потому что ни у кого нет таких острых глаз, как у меня.

Он снова вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая о чем-то сообщить по секрету.

– Миллионы розовых жаб! Ни у кого нет таких зорких глаз, как у меня. Это хуже, чем видеть тонущее судно. Миллионы розовых жаб! Я могу смотреть на тонущий корабль и спокойно курить трубку. Почему мне не дают мою трубку? Я бы курил и присматривал за этими жабами. Судно кишело ими! Знаете, за ними нужно следить!

Он шутливо подмигнул мне. Пот выступил у меня на лбу, тиковый китель прилип к телу. Вечерний ветерок проносился над рядом свободных коек, жесткие складки штор шевелились, кольца стучали о медные прутья, одеяла на кроватях бесшумно приподнимались, и я совершенно продрог. Мягкий тропический ветерок резвился в пустынной палате, а мне он казался таким же холодным, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.

– Не позволяйте ему орать, мистер... – крикнула издали жертва несчастного случая; эти слова пронеслись по палате, словно пугливый оклик в туннеле.

Цепкая рука притянула меня за плечо, тощий субъект опять многозначительно подмигнул.

– Вы поняли? Судно так и кишело ими, и нам пришлось потихоньку удрать, – быстро залепетал он. – Все розовые. Розовые и большие, как дворовые псы. На лбу один глаз, а из пасти торчат отвратительные клыки!

Он задержался, словно через него пропустили гальванический ток, и под одеялом обрисовались худые ноги. Затем он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его дрожало, как слабо натянутая струна. И вдруг таившийся в мутных глазах ужас вырвался на свободу. Суровое спокойное лицо старого вояки на моих глазах исказилось, стало хитрым и испуганным. Он еле сдержал вопль.

– Тсс... Что они там делают? – спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос.

Я понял значение этого жеста, и мне стало не по себе от собственной проницательности.

– Они все спят, – ответил я, всматриваясь в его лицо.

Этого-то он и ждал, только эти слова и могли его успокоить. Он перевел дух.

– Тсс... Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо размозжить голову первой, которая зашевелится. Очень уж их много, и судно продержится не дольше десяти минут. – Он снова заохал. – Скорей! – завопил он вдруг, и крик его перешел в рев. – Они все проснулись! Миллион жаб! Ползут ко мне! Погодите! Я буду давить их, как мух! Да помогите же мне! На помощь! На по-о-омощь!

Несмолкаемый вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии сжала руками забинтованную голову; в дальнем конце палаты появился фельдшер – маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и через одну из застекленных дверей выскочил в галерею. Вой преследовал меня, словно месть. Я очутился на площадке лестницы, и вдруг все затихло; в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями, я спустился по ступеням. Внизу я встретил одного из хирургов госпиталя, он шел по двору и остановил меня.

– Навещали своего матроса, капитан? Думаю, можно будет завтра его выписать. Знаете ли, к нам попал первый механик с того паломнического судна. Занятный случай. Один из

худших видов *delirium tremens*⁵. Три дня он пил запоем в пивной этого итальянца Мариане. Результаты налицо. Говорят, в день он осушал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только не вымысел. Можно подумать, что внутренности этого господина выстланы листовым железом. Ну голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в его бреде существует какая-то система. Я пытаюсь выяснить. Необычайное явление, нечто похожее на логику при *delirium tremens*. По традиции ему бы следовало видеть змей, но ничего подобного. В наше время добрые старые традиции не в почете. Его преследуют жабы... Ха-ха-ха! Право, я еще не встречал такого интересного субъекта среди пьяниц. Понимаете ли, после такого воздействия ему по всем правилам следовало бы умереть. Но он крепкий орешек. Двадцать четыре года прожил в тропиках. Вам не мешает взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечательный пациент из всех, кого я знаю... конечно, с медицинской точки зрения. Хотите посмотреть?

Я слушал из вежливости, стараясь казаться заинтересованным, но теперь с сожалением прошептал, что очень тороплюсь, и поспешил пожать хирургу руку.

– Мистер Марлоу, – крикнул он мне вдогонку, – механик не может явиться в суд. Вы полагаете, его показания были бы существенными?

– Думаю, что нет, – отозвался я, уже подходя к воротам.

⁵ *Delirium tremens* (лат.: «трясущееся помрачение»), алкогольный делирий, или «белая горячка» – острая психотическая реакция, вызванная хроническим злоупотреблением алкоголем и проявляющаяся в грубом треморе, острой тревоге и возбуждении.

Глава VI. Недоразумение

По-видимому, судьи были предупреждены о состоянии главного механика. Судебное следствие не отложили, и оно началось в назначенный день. Зал был полон. Никаких сомнений относительно фактов – точнее, одного факта – не было. Каким образом «Патна» получила повреждение, установить было невозможно; суд не рассчитывал это выяснить, и ни одного человека в зале не занимал этот вопрос. Однако, как я уже сказал, все моряки порта, а также представители торговых кругов, связанных с морем, пришли на заседание. Их привлек чисто психологический интерес, они ждали какого-то разоблачения, которое вскрыло бы силу и ужас человеческих эмоций. Разумеется, такое разоблачение не предвиделось. Допрос единственного свидетеля, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг общеизвестного факта, а вопросы столь же достигали цели, как постукивание молотком по железному ящику с целью узнать, что лежит внутри. Впрочем, судебное следствие и не могло быть иным. Его целью было добиться ответа не на вопрос «почему», а на поверхностный вопрос «как».

Молодой человек отвечал толково, и его внимательно слушала вся аудитория, но какие-то побочные вопросы все время отвлекали его от основного, который для меня, например, являлся единственно важным. Допрос затянулся и начинал раздражать. Вас бы тоже раздражало, если бы должностные лица исследовали душу человека, выясняя, не виновата ли во всем только его печень. Дело комиссии было разбираться в последствиях, и, конечно, ни судья, ни два морских асессора ничем другим и не занимались. Я не говорю, что они были глупы или не подготовлены. Председатель оказался очень терпеливым и въедливым. Один из асессоров был шкипер парусного судна – человек с рыжеватой бородкой, вполне благожелательно настроенный. Другим асессором являлся Брайерли. Знаменитый Брайерли! Кто не слышал об этом капитане известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда»?

Казалось, капитан чрезвычайно тяготился оказанной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал ни одной ошибки, не знал случайностей и неудач. Он был из числа тех счастливицков, которым неведомы колебания и неуверенность в себе. В тридцать два года он командовал одним из лучших судов торгового флота и считал свое судно исключительным. Второго такого судна и впрямь не было во всем мире; полагаю, если бы Брайерли спросили, он признался бы, что и такого командира, как он, нигде не сыщешь. Нет сомнений – выбор пал на самого достойного. Прочие люди, которым не дано было командовать великолепным пароходом «Осса», делавшим шестнадцать узлов в час, были в представлении капитана довольно-таки жалкими существами. Он спасал тонущих людей, суда, потерпевшие крушение, имел золотой наградной хронометр, который был поднесен ему по подписке, и бинокль с дарственной надписью, полученный за выдающиеся заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену и своим заслугам, и своим наградам.

Пожалуй, Брайерли мне нравился, хотя я знаю, что некоторые моряки и портовые служащие терпеть его не могли. Я нимало не сомневаюсь, что на меня он, как и на всех, смотрел свысока. Однако я на него не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества. Я просто не шел в счет, ибо не был единственным счастливым человеком на земле – не был Монтегю Брайерли, владельцем золотого хронометра и бинокля в серебряной оправе. Я не был так искусен в мореплавании, как Брайерли, не знал цены себе и своим наградам, не говоря уже о том, что у меня не было такой черной ищейки, как у него. Эта собака, как и ее хозяин, являлась исключительной, ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как она. Несомненно, когда вас сравнивают с личностью такого масштаба, вы чувствуете раздражение. Но мне удалось избежать этого. Допустим, я хуже Брайерли, – рассуждал я. – Но ведь не только я один. Точно так же фатально не повезло и одному миллиарду двумстам миллионам других людей, и, подумав, я решил не обижаться на капитана за его

высокомерие: что-то в этом человеке меня притягивало. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я завидовал Брайерли. Жизнь царапала его самодовольную душу не глубже, чем булавка поверхность скалы. Ведь это достойно зависти, не так ли? В суде Брайерли сидел подле непритязательного бледного председателя, и самодовольство капитана казалось твердым и непоколебимым, как гранит. Но вскоре после следствия славный мореплаватель покончил с собой.

Что-то терзало его и раньше – вот почему, наверное, он так тяготился делом Джима. Пока я размышлял о его глубочайшем презрении к молодому человеку, Брайерли, вероятно, мысленно анализировал свое собственное «дело». Надо думать, себе он вынес обвинительный приговор, а тайну показаний унес с собой в море. Если я хоть что-то понимаю в людях, дело это было очень значительным, одним из тех, что пробуждают спящую доселе мысль. Она вторгается в жизнь, и человек, непривычный к такому обществу, не в силах больше жить. Я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве, не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после конца судебного следствия и меньше чем через три дня после того, как вышел в плавание, словно перед ним показались в волнах врата иного мира, а затем разверзлись, чтобы его принять.

Брайерли покончил с собой не под влиянием аффекта. Его седовласый помощник был первоклассным моряком, но по отношению к своему командиру порой допускал невероятные глупости. Бывало, со слезами на глазах он рассказывал нам эту историю. По словам помощника, когда утром он вышел на палубу, капитан находился в рубке и что-то писал.

– Было без десяти минут четыре, – утверждал помощник, – и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. По правде сказать, мистер Марлоу, мне не хотелось идти. Признаюсь вам, хоть мне и стыдно: я не любил капитана Брайерли. Я понимаю, что трудно распознать человека и не нужно никого осуждать, но ведь его назначили на «Оссу», обойдя очень многих достойных моряков, в том числе и меня, к тому же ему приносило удовольствие унижать других людей: «С добрым утром» он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не беседовал с ним, сэр, кроме как по служебным делам, да и то с трудом принуждал себя быть вежливым.

У меня жена и дети, – продолжал помощник. – Десять лет я служил компании и по глупости все ждал назначения капитаном. Вот Брайерли и говорит мне: «Пожалуйста сюда, мистер Джонс», – таким высокомерным тоном. Я вошел. «Отметим положение судна». Он наклонился над картой, а в руке держал циркуль. Как вы знаете, помощник должен сделать это по окончании своей вахты. Однако я промолчал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот как будто сейчас вижу, как он аккуратно выводит цифры: восемнадцать, восемь, четыре. А год был написан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта и теперь хранится у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся, потом посмотрел на меня. «Тридцать две мили держитесь этого курса, – произнес он, – тогда мы отсюда выберемся, и вы можете повернуть на двадцать градусов к югу». Мы шли к северу от мыса Гектор-Бэнк. Я сказал: «Да, сэр» – и подивился, что он так разговорился, ведь все равно я должен был зайти к нему, перед тем как изменить курс.

Пробило восемь склянок, мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, по обыкновению доложил: «Семьдесят один по лагу». Капитан Брайерли взглянул на компас, потом огляделся. Было темно и ясно, а звезды сверкали ярко. Вдруг он говорит со вздохом: «Я пойду на корму и сам поставлю для вас лаг на нуль, чтобы не вышло ошибки. Еще тридцать две мили держитесь этого курса и тогда будете в безопасности. Не забудьте коэффициент поправки к лагу – процентов шесть. Значит, еще тридцать миль этим курсом, а затем возьмите на штирборт на двадцать градусов. К чему идти лишние две мили? Не так ли?»

Я никогда не слышал, чтобы капитан так много говорил, – главное, никакой нужды в этом не было. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, и собака, которая всегда следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали по палубе его каблуки, потом он остановился и заговорил с собакой: «Назад, Бродяга! На мостик, дружище! Ступай, ступай!» Он крикнул мне из темноты: «Пожалуйста, закройте собаку в рубке, мистер Джонс». В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. – Тут голос старика дрогнул. – Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним за борт, – пояснил помощник. – Да, капитан Марлоу. Брайерли установил для меня лаг и, поверите ли, даже впустил туда капельку масла: лейка для масла лежала вблизи, там, где он ее оставил. В половине шестого помощник боцмана пошел с ватершлангом на корму мыть палубу, вдруг он бросил работу и прибежал на мостик. «Не пройдете ли вы, – сказал он мне, – на корму, мистер Джонс? Странную я нашел тут штучку. Мне не хочется к ней притрагиваться». Это был золотой хронометр капитана Брайерли, подвешенный за цепочку к поручням.

Как только я увидел хронометр, меня словно осенило, сэр. Ноги мои подкосились. Я точно своими глазами увидел, как капитан прыгал за борт; я бы мог даже сказать, где это случилось. На лаге было восемнадцать и три четверти мили, у грот-мачты не хватало четырех железных кофельнагелей. Должно быть, капитан сунул их в карман, чтобы легче утонуть. Но что значат четыре железных болта для такого здорового человека, как мистер Брайерли? Может, в последний момент его самоуверенность чуть-чуть пошатнулась. Мне думается, то был единственный случай в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов поклясться: прыгнув за борт, Брайерли не пытался плыть, а упал он за борт случайно, у него хватило бы сил и мужества продержаться на воде целые сутки. Да, сэр. Второго такого не найти – я слышал однажды, как он сам это произнес. Ночью он написал два письма: одно компании, другое мне. Он оставил мне всякие инструкции относительно плавания, хотя я служил во флоте, когда он еще ходить не научился. Потом он давал мне разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование «Оссой». Капитан Марлоу, он писал мне, словно отец своему любимому сыну, а ведь я на двадцать лет старше его и отведал соленой воды, когда он был еще ребенком. В своем письме правлению – оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, – мистер Брайерли писал, что всегда честно выполнял свой долг и даже теперь не обманывал ничьего доверия, ибо оставлял судно самому компетентному моряку, какого только можно найти. Сэр, это он имел в виду меня. Дальше он писал, что, если этот последний поступок не лишит его доверия, правление примет во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будет искать ему замену. И многое в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. У меня в голове помутилось, – продолжал старик в страшном волнении и вытер себе глаза большим пальцем, широким, как шпатель.

Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так все это стремительно случилось, что я целую неделю не мог опомниться. Да к тому же я считал, что моя карьера сделана. Однако не тут-то было. Капитан «Пелиона» был переведен на «Оссу» и явился на борт в Шанхае. Этаким франтик, сэр, в сером клетчатом костюме и с пробором посредине головы. «Э... я... э... я... ваш новый капитан, мистер... мистер... э... Джонс». Он, капитан Марлоу, словно искупался в духах – так от него ими воняло. Видно, он подметил мой взгляд, потому-то и стал так заикаться. Он забормотал о том, что я, конечно, разочарован, но... его первый помощник назначен капитаном «Пелиона». Он лично не вмешивался в эту ситуацию. Компании лучше знать... ему очень жаль... «Не обращайтесь внимания на старого Джонса, сэр, – сказал я ему, – он привык к этому, черт бы побрал его душу».

Я сразу понял, что оскорбил его деликатный дух, а когда мы в первый раз уселись вместе завтракать, новый капитан стал препротивно критиковать порядки на судне. Я стиснул зубы, усталился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец не выдержал и что-то возразил.

Он вскочил на цыпочки и взъерошил все свои красивые перышки, словно боевой петушок: «Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли!» «Это мне уже известно», – мрачно ответил я и притворился, будто занят своей котлетой. «Вы – старый грубиян, мистер... э... Джонс, и это хорошо известно правлению!» – взвизгнул он. А люди стояли кругом и слушали, раскрыв рты. «Может быть, я и таков, – отрезал я, – а все же мне тяжело видеть, что вы сидите в кресле капитана Брайерли». И положил нож и вилку. «Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле – вот где собака зарыта», – огрызнулся он.

Я вышел из кают-компания, сложил вещи и раньше, чем явились носильщики, со всем своим имуществом очутился на набережной. Так-то. Выброшен на берег после десяти лет службы... А за шесть тысяч миль отсюда жена и четверо детей живут только на мое жалованье. Да, сэр! Ну не мог я вытерпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был на все. Он мне оставил бинокль – вот он, он поручил мне свою собаку – вот она. Эй, Бродяга! Где капитан?

Собака тоскливо посмотрела на нас желтыми глазами, уныло тявкнула и забила под стол. Этот разговор происходил больше двух лет спустя на борту старой развалины «Файр-Квин», которой командовал Джонс. Командование он получил случайно – от сумасшедшего Матерсона, как его всегда называли, того самого, что, бывало, болтался в Хайпонге до оккупации. Старик снова заговорил:

– Да, сэр, уж здесь-то во всяком случае долго будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ: ни «спасибо», ни «убирайтесь к черту» – ничего! Возможно, он вовсе не хотел слышать о своем сыне.

Вид старого Джонса, вытирающего лысину красным бумажным платком, тоскливое таяканье собаки, засиженная мухами каюта, как ковчег воспоминаний о покойном, – все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайерли. Посмертное мщенье судьбы за веру в собственное величие. Эта вера почти обманула жизнь со всеми ее повседневными ужасами. Почти. А может, и вполне. Кто знает, с лестной ли для самого себя точки зрения оценивал Брайерли собственное самоубийство?

– Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он сделал это? – спросил Джонс, сжимая ладони. – Почему? Это выше моего понимания. – Старый моряк хлопнул себя по низкому морщинистому лбу. – Если бы он был беден, болен, проигрался, влез в долги, неудачник или сумасшедший... Но, уж поверьте мне, он был не из тех, кто сходит с ума! Чего помощник не знает о своем капитане, того и знать не стоит. Молодой, здоровый, с достатком, никаких забот. Вот сижу я здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не зашумит. Ведь была же какая-нибудь причина...

– Будьте уверены, капитан Джонс, – ответил я, – эта причина не из тех, что могут нас с вами потревожить.

Что-то словно осенило бедного Джонса: в конце беседы старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался, печально закивал мне головой и сказал:

– Да-да. Ни вы, ни я, сэр, никогда столько о себе не думали.

Разумеется, воспоминания о моем последнем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его вскоре последовавшем самоубийстве. В последний раз я беседовал с ним, когда разбиралось дело «Патны». После первого заседания мы вместе вышли на улицу. Капитан был раздражен, что меня даже удивило: обычно, снисходя до общения, Брайерли всегда сохранял полнейшее хладнокровие и относился к собеседнику с веселой терпимостью, как будто почитал забавной шуткой сам факт его существования.

– Они заставили-таки меня участвовать в этом суде, – начал он и стал жаловаться на неудобство днем ходить на заседания. – А сколько это протянется, одному Богу известно. Дня три, я думаю. – Я слушал его молча. – Это самое глупое дело, какое только можно себе представить! – добавил он с жаром.

В ответ я подал реплику, что, дескать, отказаться он не мог. Он перебил меня с каким-то едва сдерживаемым бешенством:

– Я все время чувствую себя дураком.

Я поднял на него глаза. Для Брайерли это было слишком. Он остановился, взял меня за лацкан кителя и потянул.

– Зачем мы терзаем этого юношу? – спросил он.

Вопрос был так созвучен похоронному звону моих мыслей, что я ответил тотчас же, мысленно представив себе улизнувшего от суда немца-капитана:

– Пусть меня повесят, если я знаю ответ, но молодой человек сам на это идет.

Я был изумлен, когда Брайерли произнес следующую загадочную фразу:

– Ну конечно. Разве этот Джим не понимает, что его негодяй шкипер попросту струсил и сбежал? Чего же он ждет? С ним покончено!

Несколько шагов мы прошли в молчании.

– Зачем пожирать всю эту грязь? – воскликнул Брайерли, употребляя энергичную восточную поговорку – пожалуй, единственное проявление энергии на Востоке, на пятидесятом меридиане.

Я подивился ходу его мыслей, но теперь считаю их вполне естественными: наверное, бедняга Брайерли думал в тот момент о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер «Патны» себя в обиду не даст, да и денег, если надо откупиться, раздобудет. С Джимом наверняка все обстоит иначе: власти временно поместили его в гостинице для моряков, и, похоже, в кармане у него нет ни гроша. Нужно иметь деньги, чтобы удрать.

– Нужно ли? Не всегда, – горько усмехнулся Брайерли. Я еще что-то сказал, а он ответил: – Ну так пусть этот парень зароется на двадцать футов в землю и там остается. Клянусь Небом, я бы поступил именно так!

Почему-то его тон задел меня, и я заметил:

– Чтобы выдержать эту пытку до конца, как делает он, нужно мужество. А ведь молодому человеку хорошо известно, что никто не станет его преследовать, если он, к примеру, сбежит.

– К черту мужество, – проворчал Брайерли, – такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути, и оно ни гроша не стоит. Согласитесь, что это – своего рода дряблость. Вот что я вам предлагаю: я дам двести рупий, если вы добавите еще сотню и уговорите парня убраться завтра же поутру. Он производит впечатление порядочного человека, он поймет. Не может не понять. Эта огласка слишком отвратительна: я готов сгореть от стыда, когда матросы дают показания. Омерзительно, постыдно! Неужели вы, мистер Марлоу, не чувствуете, что я прав? Вы ведь моряк. Если бедняга Джим скроется, фарс разом прекратится.

Брайерли произнес эти слова с необычайным оживлением и потянулся за бумажником. Я остановил его и холодно заявил, что, на мой взгляд, трусость всех моряков «Патны», включая Джима, не имеет такого уж большого значения.

– А еще считаете себя моряком! – гневно воскликнул он.

Я ответил, что действительно считаю себя моряком, и, смею надеяться, не ошибаюсь. В ответ он сделал рукой жест, который словно лишил меня моей индивидуальности и смешивал с толпой.

– Хуже всего то, – заключил он, – что у вас, господа, нет чувства собственного достоинства. Вы мало думаете о том, что собой представляете.

Все это время мы медленно двигались вперед и теперь остановились напротив управления портом, вблизи того места, где исчезла, как крохотное перышко, подхваченное ураганом, массивная туша капитана «Патны». Я улыбнулся, а Брайерли продолжал:

– Это позор! Конечно, в нашу среду попадают всякие парни, среди нас встречаются и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт побери, сохранять профессиональное достоинство! Нам доверяют. Понимаете? Доверяют. По правде сказать, мне нет дела до этих паломни-

ков, отправляющихся в Азию, но порядочные люди не поступили бы так, как моряки «Патны», даже если бы судно было нагружено старым тряпьем. Такие поступки подрывают всякий авторитет флота. Человек всю жизнь может прослужить на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если такое произошло... Да... Если бы я... – Он сбился с мысли, оборвал сам себя и заговорил другим тоном: – Я дам вам двести рупий, мистер Марлоу, а вы все-таки потолкуйте с парнем. Хотел бы я, чтобы он никогда больше не являлся в этот проклятый суд. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Его отец – приходской священник. Помнится, я встретил его в прошлом году, когда гостил у своего кузена в Эссексе. Старик души не чаёт в своем сыне-моряке. Ужасно. Я не могу сам предложить Джиму деньги, я ассессор, но вы...

Таким образом, благодаря Джиму я на короткий момент увидел истинное лицо капитана Брайерли за несколько дней до того, как он свел счеты с жизнью. Конечно, я тогда уклонился от вмешательства в это дело. Высокомерный тон, каким Брайерли произнес последние слова – может, они сорвались у него невольно, – намекал на то, что я заслуживаю не большего внимания, чем какая-нибудь козявка. В результате я с негодованием отнесся к предложению Брайерли по поводу денег и окончательно убедил себя в том, что суд – суровое, но справедливое наказание для Джима, и, подвергаясь ему, молодой человек до известной степени искупает свое отвратительное поведение на судне во время инцидента. Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем теперь, когда я знаю о его самоубийстве.

На следующий день, поздно явившись на заседание, я сидел один. Разумеется, я не забыл о вчерашнем разговоре с Брайерли, а теперь оба они – и Джим и Брайерли – сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо-наглым, физиономия другого демонстрировала презрительную скуку, однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе, а я знал, что выражению лица Брайерли доверять нельзя. Ассессор вовсе не скучал – он был возмущен, значит, и Джим, вероятно, не был наглым, что вполне согласовывалось с моей теорией. Я решил, что парень потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним взглядом. Взгляд, какой он мне бросил, убивал всякое желание с ним заговорить. Какую бы гипотезу я ни развивал – бесстыдство или отчаяние, – я чувствовал, что ничем не могу помочь Джиму.

Шел второй день разбора дела «Патны». Вскоре после того, как мы с Джимом обменялись взглядами, заседание прервали до завтра. Белые посетители начали пробираться к выходу. Джиму еще раньше предложили покинуть конторку, за которой он стоял, отвечая на вопросы, и он вышел одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову в светлом пятне распахнутой двери. Пока я медленно продвигался к выходу, с кем-то разговаривая на ходу, меня задержал, обратившись ко мне, какой-то совершенно незнакомый человек. Я не упускал Джима из поля зрения: он стоял, облокотившись о балюстраду веранды, спиной к публике, спускавшейся по ступеням. Повсюду слышались тихие голоса и шарканье ног.

Теперь в зале должно было слушаться дело о нанесении побоев какому-то ростовщику. Обвиняемый, почтенный на вид крестьянин с длинной белой бородой, сидел на циновке как раз за дверью, вокруг него расположились на корточках и стоя его сыновья, дочери, зятья, жены – полагаю, добрая половина деревни. Стройная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и тонким золотым кольцом, продетым в ноздри, вдруг заговорила пронзительно и крикливо. Мой собеседник невольно поднял глаза. Мы с ним уже выбрались из залы и очутились как раз за широкой спиной Джима.

До сих пор не знаю, кто привел к зданию желтую собаку: может, эти крестьяне? Как бы то ни было, но туземная псина крутилась здесь, шныряя между ногами прохожих. Мой спутник неловко споткнулся о нее, она пугливо отскочила в сторону, а он произнес с тихим смешком:

– Вот ведь трусливая тварь!

Вслед за этим людской поток разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а мой собеседник спустился по ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто обернулся, шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы стояли друг против друга, и он смотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела, шум в зале суда затих, наступила полная тишина, и только откуда-то со стороны доносился жалобный визг. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась у порога и стала ловить мух.

– Вы мне что-то сказали? – тихо спросил Джим, наклоняясь вперед так, словно наступал на меня.

Я удивился, но тотчас же ответил:

– Нет.

Что-то в звуке его голоса подсказало мне, что надо держаться настороже. Я пристально посмотрел на него. У меня создалось ощущение, что я встретился с разбойником в лесу, но ведь в данной ситуации этот юноша не мог потребовать у меня кошелек или убить меня, – ничего такого, что таило бы для меня реальную угрозу и вынуждало бы защищаться.

– Вы говорите – нет, – сказал он мрачнее тучи, – но я слышал.

– Что вы слышали? Здесь какое-то недоразумение, – возразил я, ничего не понимая. Я не сводил глаз с его лица, которое потемнело, как небо перед грозой: тени набегали на него и сгущались перед близкой вспышкой. – Я не открывал рта в вашем присутствии, – заявил я раздраженно.

Этот нелепый разговор начинал меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент готов был ввязаться в драку – самую настоящую драку, когда в ход пускают кулаки. Я пытался подавить в себе агрессию. Нет, парень не угрожал мне, я, конечно, преувеличивал опасность. Наоборот, Джим был поразительно пассивен, только всем корпусом подался вперед, и, хотя он не производил впечатления человека слишком крупного, мог, тем не менее, легко проломить стену. Однако я подметил и благоприятную деталь: Джим будто бы глубоко задумался и поколебался в своем прежнем мнении – я принял это как дань моему неподдельно искреннему тону. Мы постояли друг против друга. В зале суда разбиралось дело о побоях. До моего слуха донеслись слова: «Буйвол... палка... сильный страх...»

– Почему вы все утро на меня смотрели? – наконец спросил Джим, поднял глаза и снова потупился.

– Вы полагали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства? – отрезал я, не желая покорно выслушивать его странно-нелепые выводы.

Он опять поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо.

– Нет. Так и должно быть, – произнес он, словно взвешивая эти слова. – Так и должно быть. Я сознательно на это иду. Но только, – здесь он заговорил быстрее, – я никому не позволю оскорблять меня вне суда. С вами рядом шел какой-то человек. Вы беседовали с ним... о да, я все прекрасно знаю. Вы говорили с ним намеренно громко, чтобы я слышал...

Я заверил его, что он ошибается. Я понятия не имел, как такое могло произойти.

– Вы думали, что я не решусь ответить на ваше оскорбление, – заявил парень с легкой досадой.

Я успел так заинтересоваться этой сценой, что подмечал малейшие нюансы в речи своего оппонента, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в словах Джима, а может, интонация, с которой он говорил, побудило меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка вдруг перестала меня раздражать. Произошло какое-то недоразумение, и Джим обиделся, только и всего. Мне не терпелось поскорее исчерпать этот инцидент, как не терпится человеку оборвать непрошеное и тягостное признание. Забавнее всего было вот что: предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я тем не менее ощущал некоторое беспокойство при мысли о возможной постыдной драке; для нее не подыщешь объяснений, и она поста-

вит меня в смешное положение. Меня не прельщала перспектива сделаться на три дня притчей во языцех на всем побережье и получить синяк под глаз от молодого помощника капитана «Патны». Джим, по-видимому, не задумывался над тем, что делал, во всяком случае, считал себя целиком и полностью правым. Несмотря на его сдержанность, любой посторонний заметил бы, что молодой человек чем-то до чрезвычайности рассержен. Не отрицаю: мне хотелось его успокоить, но я не знал, с какого конца за это взяться. Мы опять безмолвно устали друг на друга. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отразить удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул.

– Будь вы вдвое больше и вшестеро сильнее, – заговорил он очень тихо, – я бы вам объявил, что я о вас думаю. Вы...

– Стойте! – воскликнул я. Это заставило его на секунду замолчать. – Прежде чем говорить, что вы обо мне думаете, – быстро вставил я, – сообщите мне, что такое плохое я сказал или сделал.

Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, а я мучительно напрягал память, но мне мешал голос из залы суда, бесстрастно и многословно возражавший против обвинения во лжи. Затем мы заговорили почти одновременно.

– Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет, – произнес он тоном, не предвещавшим ничего хорошего.

– Понятия не имею, – признался я в недоумении.

Он бросил на меня презрительный взгляд.

– Теперь, когда вы видите, что я не из трусливых, вы пытаетесь вывернуться, – заявил он. – Так кто же из нас двоих трусливая тварь?

Боже, до меня наконец дошло!

Он всматривался в мое лицо, словно выискивая место, куда ударить кулаком.

– Я никому не позволю... – забормотал он.

Да, вышло нелепое недоразумение, и он выдал себя с головой. Не могу передать, как я был потрясен. Наверное, мне не удалось скрыть своих эмоций, так как выражение его лица чуть-чуть изменилось.

– Господи... – пролепетал я, – вы думаете, что я сказал...

– Я уверен, что не ослышался, – настаивал он и впервые с начала нашего конфликта повысил голос. Затем с оттенком презрения добавил: – Значит, это были не вы? Отлично, я разыщу того, другого.

– Не глупите, – в отчаянии крикнул я, – это совсем не то!

– Я не глухой, – повторил он с непоколебимым упорством.

Многие сочли бы смешным такое упрямство, но я не смеялся. О нет. Я еще ни разу не встречал человека, который выдал бы себя так безжалостно, полностью отдавшись естественному порыву. Одно слово лишило его сдержанности, той, которая для пристойности нашего внутреннего «я» куда более необходима, чем одежда для нашего тела.

– Не глупите, – повторил я довольно настойчиво.

– Но вы не отрицаете, что тот, другой, это сказал? – отчетливо произнес он, глядя мне в лицо.

– Нет, не отрицаю, – ответил я, выдерживая его взгляд.

Наконец он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понял, затем остоленел, и на лице его отразились изумление и испуг, словно собака была чудовищем, которое он увидел впервые в жизни.

– Никто и не помышлял вас оскорблять, – заверил я его.

Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние. Насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг, как автомат, щелкнула зубами, чтобы схватить пролетающую муху.

Я взглянул на него. Румянец на его загорелых щеках внезапно потемнел и залил лоб до самых корней выющихся волос. Уши его порозовели, и даже светлые голубые глаза стали темными от прилива крови к голове. Губы задрожали, словно он вот-вот расплчется. Я заметил, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением или разочарованием, – кто знает. Наверное, он хотел потасовки, которой намеревался меня угостить, для своей реабилитации, для успокоения. Какого облегчения он ждал от этой драки? Он был так наивен, что мог ждать чего угодно, но в данном случае он совсем напрасно выдал себя. Он был искренен с самим собой – не говоря уже обо мне – в своей безумной надежде таким путем добиться какого-то опровержения, а насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, оглушенный ударом по голове. На него было жалко смотреть. Я нагнал его лишь за воротами. Мне пришлось пробежаться, но когда, задыхаясь, я поравнялся с ним и намекнул на то, не удрать ли ему от всех неприятностей, он заявил:

– Никогда, – и повернул к набережной.

Я объяснил, что пошутил, намекая, будто он бежит от меня.

– Я не побегу ни от кого, ни от кого на свете, – упрямо твердил он.

Я ничего не сказал ему об одном-единственном исключении из этого правила, приемлемом для самых мужественных людей. Верилось, что он и сам скоро это поймет. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, чем бы его обнадежить, но в данный момент мне ничего не приходило в голову, и Джим снова зашагал впереди. Я не отставал и, не желая отпускать его, торопливо заговорил о том, что мне не хотелось бы оставлять его под ложным впечатлением моего... моего... я запнулся. Нелепость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз не имеет ничего общего с их смыслом и логикой их конструкции. Мой глупый лепет, видимо, понравился ему. Он оборвал его, произнеся с вежливым спокойствием, которое свидетельствовало о его безграничном самообладании или удивительной переменчивости настроений:

– Моя ошибка...

Я подивился: казалось, он намекал на какой-то пустячный эпизод. Неужели Джим не понял его постыдного значения?

– Вы должны меня простить, – продолжал он и угрюмо добавил: – Все эти люди, которые тарасились на меня там, в суде, казались мне такими дураками, что... вполне могло случиться и так, как я предполагал.

Эта фраза удивила меня. Я посмотрел на юношу с любопытством и встретил его взгляд, непроницаемый и совсем не смущенный.

– С подобными выходками я не могу мириться, – произнес он очень просто, – и не хочу. В суде дело другое: там мне приходится это выносить, и я выношу...

Я его не понимал. То, что он мне открывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь живые и исчезающие детали, не дающие представления о ландшафте в целом. Они питают любопытство человека, но не удовлетворяют его, ориентироваться по ним нельзя. В общем, молодой человек ставил меня в тупик. Вот к какому выводу я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я на несколько дней остановился в отеле «Малабар», и в ответ на мое настойчивое приглашение Джим согласился вместе пообедать.

Глава VII. Восемьсот человек и семь шлюпок

В тот день идущее за границу почтовое судно бросило якорь в порту, и в ресторане отеля большинство столиков было занято людьми с билетами кругосветного плавания – стоимостью в сто фунтов. Присутствовали три супружеские пары, по-видимому, соскучившиеся друг по другу за время плавания, обедали и те, кто путешествовал компанией, и одинокие туристы – все эти люди думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь так, как привыкли это делать у себя дома. На новое впечатление они отзывались так же, как их чемоданы. Отныне они вместе со своими чемоданами будут отмечены ярлычками как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Они будут дрожать над этим своим отличием и сохраняют ярлычки как документальное свидетельство, как единственный неизгладимый след путешествия. Темнолицые слуги бесшумно скользили по натертому полу, изредка раздавался девичий смех, наивный и пустой, как и сама девушка. По временам, когда затихал звон посуды, доносились слова, произнесенные в нос каким-нибудь остряком, который забавлял ухмылявшихся собутыльников последним скандалом, вспыхнувшим на борту судна. Две старые девы в экстравагантных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами; эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороны пугала.

Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хорош – это я заметил. Казалось, он похоронил где-то в глубинах памяти эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно это было нечто такое, о чем незачем больше вспоминать. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, смотревшие прямо на меня, это молодое лицо, широкие плечи, открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней выющихся белокурых волос. Вид молодого человека вызывал во мне симпатию – открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Джим был порядочным человеком – одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью и тем спокойствием, какого можно достигнуть мужественным самообладанием или крайним бесстыдством, колоссальной наивностью или странным самообманом. Кто разберется? Если судить по нашему тону, могло показаться, что мы рассуждали о футбольном матче или о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в догадках, но разговор вдруг повернулся так, что мне удалось, не обижая Джима, вставить несколько фраз по поводу следствия, несомненно, являвшегося для него мучительным. Он схватил меня за руку – моя рука лежала на скатерти около тарелки – и впился в меня глазами. Мне сделалось неловко.

– Простите, вам это, конечно, очень неприятно, – смущенно пробормотал я, опустив голову.

– Это адская пытка! – глухо воскликнул он.

Его движение и эти слова заставили двух франтоватых туристов за соседним столиком тревожно оторваться от пудинга. Я встал, и мы вышли в галерею, где подавали кофе и сигары. На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками, вокруг стояли удобные плетеные кресла; столики отделялись друг от друга какими-то кустами с жесткими листьями; на колонны падал красноватый отблеск света из высоких окон. Вечерело, мерцающая ночь вот-вот должна была опуститься великолепным темным занавесом. Огни судов сияли вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на закругленные черные массы застывших грозových туч.

– Я не мог удрать, – начал Джим, – шкипер удрал, так ему и полагалось. А я не мог и не хотел. Все они так или иначе выпутались, но для меня это не годилось.

Я слушал с напряженным вниманием, не смея пошевелиться; я желал многое узнать, но кое-чего и теперь не знаю, а могу только догадываться. Джим был доверчивым, но сдержанным, как будто убежденность в какой-то внутренней правоте мешала лишнему слову сорваться с

его уст. Прежде всего он заявил – тон словно подтверждал его бессилие перескочить через двадцатифутовую стену, – что уже никогда не вернется домой; это заявление пробудило в моей памяти слова Брайерли о том, что старик-пастор в Эссексе души не чает в своем сыне-моряке.

Не могу судить, знал ли Джим, что был любимцем отца, но интонация, с которой он отзывался о своем папе, давала понять, что старый деревенский пастор – самый прекрасный человек из всех, кто когда-либо был обременен заботами о большой семье. Хотя сказано это и не было, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима умиляла меня с каждой минутой все сильнее.

– Теперь папа уже обо всем знает из газет, – грустно произнес Джим. – Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком. Никогда не сумею ему объяснить... Отец не поймет.

Я внимательно посмотрел на Джима. Он задумчиво курил, а немного погодя встрепнулся и заговорил снова. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с сообщниками в... преступлении. Он не из их компании, а совсем другой породы. Я не отрицал. Мне вовсе не хотелось во имя бесплодной истины лишать Джима хотя бы малой частицы спасительной милости. Я не знал, до какой степени он сам в это верит. Я не знал, какую он вел игру – если вообще это была игра; по-моему, он и сам не ответил бы на этот вопрос. Я убежден, что ни один человек не в состоянии вполне понять собственных уловок, к каким он прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не издал ни звука, пока Джим рассуждал о том, что ему предпринять, когда завершится этот дурацкий суд.

По-видимому, Джим разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он понятия не имел, куда ему деваться, – он признался мне в этом, но, скорее, размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Морское свидетельство будет отнято, карьера бесславно окончена, денег для отъезда нет ни гроша, никакой службы не предвидится. Пожалуй, на родине и можно было бы что-нибудь получить, но для этого следовало обратиться к родным за помощью, чего он ни за что делать не намерен. Ему ничего не оставалось, как поступить на судно простым матросом; может, удалось бы найти место боцмана на каком-нибудь пароходе. Он мог бы быть боцманом.

– Думаете, могли бы? – откровенно спросил я его.

Он вскочил и, подойдя к каменной балюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду он вернулся и остановился передо мной; его юношеское лицо было омрачено душевной тревогой. Он прекрасно понимал, что я не сомневался в его способности управлять штурвалом. Слегка дрожащим голосом он поинтересовался, зачем я задал ему этот вопрос. Ведь я был к нему «так добр». Ведь я даже не высмеял его, когда... Тут он запнулся:

– ...когда произошло это недоразумение, и я свалил такого дурака.

Я перебил его и заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и, задумчиво потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна.

– Но я ни на секунду не допускаю, что определение «трусливая тварь» мне подходит, – отчетливо произнес он.

– Да? – спросил я, вскинув брови.

– Да, – спокойно и решительно подтвердил он. – А вы знаете, что сделали бы вы на моем месте? Знаете, как повели бы себя? И ведь вы не считаете себя... – Тут он что-то проглотил, – ...не считаете себя трус... трусливой тварью?

В этот момент он, клянусь вам, поглядел на меня с неммым вопросом. Очевидно, это был очень серьезный вопрос. Однако ответа он не ждал. Прежде чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая знаки, начертанные на лице ночи.

– Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не был готов... тогда. Я не пытаюсь оправдываться, но мне хотелось бы объяснить, чтобы кто-нибудь понял... хоть кто-нибудь. Хотя бы один человек! Вы! Почему бы не вы?

Это звучало торжественно и чуть-чуть смешно. Так бывает всегда, когда человек мучительно пытается сохранить свое представление о том, каким должно быть его «я». Это представление – чистая условность, формальные правила игры, не больше, и, однако, оно имеет огромное значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение.

Джим начал рассказ довольно спокойно. На борту парохода «Эвондэль», подобравшего этих четверых, пливших в лодке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первых же минут стали смотреть косо. Толстый шкипер «Патны» быстро выдумал какую-то историю, трое других помалкивали, и сначала версия капитана была принята. Не будете же вы подвергать перекрестному допросу потерпевших крушение людей, которых вы спасли в океане? Затем капитану «Эвондэля» и его людям пришлось в голову, что в этой истории таится какая-то недосказанность, но свои сомнения они на время оставили при себе. Они выбрали капитана, его помощника и двоих механиков с якобы затонувшего парохода «Патна» и считали, что свой долг выполнили.

Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, что провел на борту «Эвондэля». Исходя из того, что он рассказал, я заключил, что он был ошеломлен сделанным «открытием», касавшимся его лично, и пытался объяснить суть дела хотя бы единственному человеку, способному его понять. Джим отнюдь не старался преувеличить или уменьшить свою роль. В этом я уверен, здесь и коренится то, что отличало его от троих остальных. Что касается эмоций, какие он испытал, когда сошел на берег и услышал о непредвиденном завершении истории «Патны», в которой он, помощник капитана, сыграл такую жалкую роль, то о них Джим не обмолвился ни словом. Да и трудно это себе представить.

Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать. Несомненно, однако, что вскоре ему удалось найти новую опору. Две недели он прожил на берегу в гостинице для моряков; в то время там жили еще шесть-семь человек, и от них я кое-что слышал о своем новом знакомом. Их мнение сводилось к тому, что помимо прочих недостатков Джим был угрюмой скотиной. Все эти дни он провел в кресле на веранде, забившись в угол, и выходил из своего убежища лишь на обед или поздно вечером, когда в полном одиночестве, оторванный от всех, неприкаянный и молчаливый, словно бездомный призрак, отправлялся бродить по набережной.

– Кажется, я за все это время ни единой живой душе не сказал и двух слов, – признался он, и мне стало его жалко. Тотчас же он добавил: – Один из тех парней непременно брякнул бы насчет «Патны» что-нибудь такое, с чем я не мог бы смириться, а ссоры, тем более драки, я не хотел. Да, тогда не хотел. Я был слишком подавлен, и мне было не до ссор.

– Значит, переборка в трюме все-таки выдержала? – попытался я перевести разговор в другое русло.

– Да, – прошептал он, – выдержала. Однако могу вам поклясться, что я чувствовал, как она качалась под моей рукой.

– Удивительно, какое сильное давление способно выдержать старое железо! – вставил я поспешно.

Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, Джим несколько раз кивнул. Грустно было на него смотреть. Вдруг он поднял голову, выпрямился и хлопнул себя по ноге.

– Ах, какой случай был упущен! Боже мой! Какой случай упущен! – воскликнул он, но дважды повторенное слово «упущен» прозвучало, как крик, вырванный болью.

Он снова замолчал и уставился в пространство, как будто мысленно призывал тот упущенный случай вернуться и реализоваться. На секунду ноздри Джима раздулись, словно он втягивал пьянящий аромат той самой неиспользованной возможности. Его взгляд был устремлен в ночь, и по его глазам я видел, что молодой человек изо всех сил рвется вперед – в фантастическое царство безрассудного героизма. Ему недосуг было сожалеть о том, что он поте-

рял, – он был слишком озабочен тем, что ему не удалось приобрести. Джим находился далеко от меня, хотя я и сидел в трех футах. С каждой секундой юноша все глубже погружался в мир романтики и наконец проник в самое его сердце. Странное блаженство отразилось на его лице, глаза загадочно засверкали в пламени свечи, горевшей на столике между нами. Джим улыбнулся, и это была не обычная, а экстатическая улыбка. Мы с вами, друзья мои, никогда не сможем так улыбаться. Я вернул собеседника на землю словами:

– Если бы вы не покинули судно... Вы это хотели сказать?

Он повернулся ко мне с растерянным видом, в котором читалась невыразимая мука. Лицо его приобрело недоуменное, испуганное, страдальческое выражение, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я никогда не будем так глядеть. Джим сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца. Потом вздохнул.

Я был настроен не особенно миролюбиво. Этот парень провоцировал меня своими противоречивыми признаниями.

– Печально, что вы не знали о последствиях, – сделал я нехорошее замечание.

Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, к его ногам, а он даже не подумал о том, чтобы поднять ее. Может, он и не заметил ее. Развалившись на стуле, он произнес:

– Черт возьми! Говорю вам, переборка шаталась. Когда я поднимал фонарь вдоль железного клина, сверху на меня падали куски ржавчины величиной с ладонь. – Он провел рукой по лбу. – Переборка дрожала и шаталась, как живая, я сам это видел.

– И что вы решили предпринять? Или просто растерялись? – заметил я вскользь.

– Неужели вы полагаете, – начал он, – что в тот момент я думал о себе, когда за моей спиной спали сто шестьдесят человек – на носу, между доками? А на корме их было еще больше, и на палубе... Они спали, ни о чем не подозревая. Их было вдвое больше, чем могло разместиться в шлюпках, даже если бы хватило времени спустить их. Я ждал, что вот-вот железная переборка не выдержит, и поток воды хлынет на спящих паломников. Что я мог сделать? Что?

Я живо представил себе, как Джим стоял во мраке и свет фонаря падал на переборку, которая выдерживала давление всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я мысленно видел, как парень смотрел на железную стену, испуганный падающими кусками ржавчины, ошеломленный предвестием неминуемой смерти. Как я понял, это произошло тогда, когда шкипер вторично отправил его в носовую часть судна, видимо, чтобы удалить его с мостика. Джим признался, что первым его побуждением было крикнуть и, разбудив всех пассажиров, сразу повергнуть их в ужас, но сознание своей беспомощности так придавило его, что он не в силах был издать ни звука. Вот что, наверное, подразумевается под словами «язык прилип к гортани». «Во рту у меня все пересохло» – так описал Джим свое состояние. Он безмолвно выбрался на палубу через люк номер один. Виндзейль⁶, свешивавшийся вниз, случайно хлестнул его по лицу, и от прикосновения парусины Джим едва не слетел с трапа.

Ноги его подкашивались, когда он вышел на фордек и поглядел на спящую массу народа. К тому времени машины остановили и начали выпускать пар. От глухой воркотни ночь вибрировала, как басовая струна, и судно отвечало дрожью. То здесь, то там с циновки приподнимались головы, смутно вырисовывались фигуры сидящих людей. С полминуты они сонно прислушивались, потом снова ложились среди нагроможденных ящиков, паровых ворот и вентиляторов. Джим знал: паломники не разбираются в корабельном хозяйстве и не способны понять, что означает этот приглушенный шум. Железное судно, белолицый экипаж, загадочные предметы и звуки – все на борту казалось невежественной и благочестивой толпе странным и непонятным. Джим даже радовался, что никто из пассажиров не осознает грозящей «Патне» опасности, но вскоре он устыдился этой мысли и счел ее кощунственной.

⁶ Рукав из парусины для очистки воздуха внутри судна.

У него были все основания полагать, что старое судно с минуты на минуту затонет вместе с людьми: шатающаяся, изъеденная ржавчиной переборка, противостоящая многотонному напору, казалось, вот-вот рухнет, как заминированная дамба, и вслед за этим хлынет поток воды. Джим стоял неподвижно и глядел на распростертые тела – обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий сборище мертвецов. Да, паломникам грозила смерть. Почти всем. И ничто не могло их спасти. Даже половина пассажиров еле-еле разместилась бы в шлюпках, но спускать их не было времени. Бессмысленным казалось разжать губы, пошевелить рукой или ногой. Раньше, чем Джим успел бы крикнуть три слова или сделать три шага, он уже барахтался бы в море, которое вскоре покрылось бы пеной от агонии погибающих людей и огласилось бы воплями о помощи. Но помощи не предвиделось. Откуда она могла прийти? Джим прекрасно знал, что дальше случится, он пережил все это, застыв с фонарем в руке возле люка, пережил все вплоть до самой последней мучительной детали. Думаю, он переживал это вторично, когда рассказывал мне то, о чем не желал говорить в зале суда.

– Я видел ясно – так же, как вижу вас сейчас, – что делать мне нечего. Жизнь как будто уже ушла от меня. Я стоял и ждал, понимая, что ждать недолго. Вдруг выпуск пара прекратился. Шум тревожил, но эта внезапная тишина оказалась невыносимой. Я решил, что задохнусь раньше, чем утону, но я не думал, как спастись. В моем мозгу вспыхивала, гасла и снова всплывала одна отчетливая мысль: восемьсот человек и семь шлюпок, восемьсот человек и семь шлюпок. Словно чей-то голос нашептывал: восемьсот человек и семь шлюпок... и нет времени! Вы только подумайте! – Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался не встретиться с ним взглядом. – Вы полагаете, я боялся смерти? – спросил он очень напряженно и тихо. Он ударил ладонью по столу, запрыгали кофейные чашки. – Я готов поклясться, что не боялся, нет! Клянусь Богом, я не трусливая тварь! – Он выпрямился и скрестил на груди руки, опустив подбородок.

Через высокие окна до нас доносился отдаленный звон посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышло несколько человек, очень благодушно настроенных. Они обменивались шутками, вспоминая катанье на осликах в Каире. Бледный длинноногий юноша разговаривал с краснолицым чванливым туристом, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре.

– Вы в самом деле придерживаетесь мнения, что я сплеховал? – серьезно и решительно осведомился Джим.

Компания расселась за столиками, вспыхивали спички, на секунду выхватывая из темноты невыразительные лица и белые манишки. Жужжание болтающих людей, разгорячившихся после еды и выпивки, казалось мне нелепым и бесконечно далеким.

– Несколько человек из команды спали на люке номер один в двух шагах от меня, – снова заговорил Джим.

Вахту на «Патне» несли калаша⁷, команда спала всю ночь, и будили только тех, кто сменил дежурных у нактоуза и рулевого. Джим хотел растолкать ближайшего матроса, но что-то его удержало. Он не боялся, о нет! – просто он не мог, вот и все. Верю, он не боялся смерти – его пугала паника. Неудержимая фантазия нарисовала ему жуткое зрелище паники: стремительное бегство, душераздирающие вопли, опрокинутые шлюпки – самые страшные картины катастрофы на море. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он предпочел бы умереть спокойно, не становясь свидетелем кошмарных сцен. Готовность умереть в морях видишь довольно часто, но редко встретится человек, облеченный в стальную непроницаемую броню решимости до последней минуты вести отчаянную и безнадежную борьбу: жажда покоя усиливается по мере исчезновения надежды, и порой побеждает волю к жизни. Кто из нас, моряков, этого не наблюдал? Многие из нас испытали нечто подобное: крайнюю усталость, созна-

⁷ Народность в Пакистане.

ние бесполезности всяких усилий, страстную тягу к покою. Это хорошо известно тем, кому доводилось сражаться со стихией, – потерпевшим кораблекрушение и спасшимся на шлюпках, путешественникам, заблудившимся в пустыне, людям, вступающим в единоборство с силами природы или бессмысленным зверством толпы.

Глава VIII. Исповедь без отпущения грехов

Долго ли Джим неподвижно стоял у люка, ожидая, что судно вот-вот опустится под его ногами, поток воды хлынет сзади и унесет его, как щепку, – я не знаю. От силы минуты две. Двое из лежащих – он не мог их разглядеть – стали переговариваться сонными голосами, где-то слышалось шарканье ног. Над этими слабыми звуками нависло жуткое безмолвие, какое предшествует катастрофе, – страшное затишье перед ударом. Тут Джиму пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать вверх и перерезать тали, чтобы шлюпки не пострадали, когда «Патна» пойдет ко дну.

На «Патне» был длинный мостик, и все шлюпки находились наверху: четыре с одной стороны, три с другой, самые маленькие – на левом борту напротив рулевого аппарата. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю. Больше всего его заботило то, чтобы в нужный момент шлюпки были наготове. Он знал свой долг. В этом смысле, думаю мне, он был хорошим помощником своему шкиперу.

– Я всегда считал, что надо готовиться к худшему, – пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо.

Легким кивком я одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы не встретиться взглядом с человеком, в котором мне чудилось что-то болезненное.

Он побежал. Колени у него подгибались. Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, перепрыгивать через головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, слышался чей-то измученный голос. Свет фонаря, который Джим держал в правой руке, упал на обращенное к нему темное лицо, глаза и голос человека молили о помощи. Джим достаточно знал язык, чтобы понять слово «вода», которое несколько раз было повторено настойчивым, умоляющим голосом. Молодой человек рванулся, чтобы освободиться, и почувствовал, как смуглая рука обхватила его ногу.

– Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, – сказал Джим. – Вода, вода! О какой воде он говорил? Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, люди кругом начинали шевелиться. Мне нужно было успеть перерезать канаты шлюпок. Теперь пассажир овладел моей рукой, и я почувствовал, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль: «Этого будет достаточно, чтобы поднять панику!» Свободной рукой я размахнулся и ударил его фонарем по лицу. Стекло зазвенело, свет погас, удар заставил человека выпустить меня, и я побежал к шлюпкам. Тогда этот тип прыгнул на меня сзади. Я обернулся к нему. Ему нельзя было заткнуть глотку. Он пытался кричать. Я чуть не задушил его, прежде чем понял, чего ему надо. Он просил воды, чтобы напиться; видите ли, пассажиры получали определенную небольшую порцию воды, а с ним ехал маленький сын, которого я несколько раз видел. Ребенок болел, хотел пить, и отец, заметив меня, когда я бежал мимо, попросил воды. Вот и все. Мы находились под мостиком в темноте. Он все цеплялся за мои руки, и невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хотелось пить.

Джим оперся на локоть и прикрыл глаза рукой. Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине, – что-то странное заключалось во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшей глаза, чуть-чуть дрожали. Он возобновил рассказ:

– Это случается лишь один раз в жизни и... ну ладно! Когда я добрался до мостика, негодяи спускали одну из шлюпок с чак. Шлюпку! Я взбегал по трапу, и кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев головы. Это меня не остановило, и первый механик, к тому времени поднятый с койки, снова замахнулся на меня багром. Почему-то я был так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным и ужасным. Я увернулся от маньяка и поднял его над палубой, как малого ребенка, а он, пока я его держал, все время

кричал: «Не надо! Не надо! Я тебя принял за одного из этих...» Я отшвырнул его, он полетел на мостик и подкатился под ноги тому маленькому парнишке – второму механику. Шкипер, возившийся у шлюпки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не шевельнулся и стоял как каменный, вот так же неподвижно, точно эта стена. – Джим ударил суставом пальца по стене у своего стула. – Казалось, будто все это я уже видел, слышал и пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я опустил кулак, а капитан остановился, бормоча: «А, это ты! Помоги нам. Живей». Вот все, что он сказал: «Живей!» Словно можно было успеть! «Что вы хотите сделать?» – спросил я. «Убраться отсюда», – огрызнулся он через плечо.

Кажется, тогда я не понял, что именно он имел в виду. К тому времени оба механика поднялись на ноги и вместе бросились к лодке. Они топтались, пыхтели, толкались, проклинали шлюпку, «Патну», друг друга, меня. Все вполголоса. Я не шевелился и молчал. Я смотрел, как накренилось судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках в сухом доке, но держалось оно вот так. – Джим поднял руку ладонью вниз и согнул пальцы. – Вот так! – повторил он. – Я ясно видел перед собой линии горизонта над верхушкой форштевня, видел воду там, вдали, – черную, сверкающую и неподвижную, словно в заводи. Таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог этого вынести. Видали вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржавого, чтобы можно было подпереть его изнутри? Видали? Я об этом думал – я думал решительно обо всем, но можете ли вы подпереть переборку в пять минут? Или хотя бы в пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься вниз? А дерево? Хватило бы у вас мужества ударить молотком, если бы вы видели эту переборку? Не говорите, что вы бы с этим справились: вы ее не видели. Никто бы не справился! Чтобы взяться за такое, надо верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный, а поверить было невозможно. Никто бы не поверил. Вы думаете, я – трус, потому что стоял там, ничего не предпринимая. А как бы поступили вы? Что? Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых ничто не могло спасти. Слушайте. Это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами...

После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня, не переставал наблюдать за впечатлением, какое производили его слова. Он обращался не ко мне – он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразумным спутником его существования. Он вел свое судебное следствие, которое нельзя было доверить судьям, – важный спор об истинной сущности жизни, – и присутствие председателя и ассессоров здесь совершенно не требовалось. Джиму нужен был союзник, сообщник, соучастник. Я осознал свое шаткое положение: парень вполне мог обмануть, запугать меня, заставить расчувствоваться, только чтобы я принял активное участие в словесном состязании, в котором заведомо не было ни победителя, ни побежденного.

Мне трудно объяснить, что я ощущал в те минуты. Казалось, Джим вынуждал меня понять нечто непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такой ситуации. Меня побуждали признать условность правды и искренность лжи. Джим апеллировал сразу к двум лицам: к тому, что всегда обращено к яркому свету, и к тому, что устремлено к вечной тьме и лишь изредка улавливает пугливый пепельный свет. Джим лишал меня душевного равновесия. Я честно признаюсь в этом и раскаиваюсь. Да, случай был незначительный: юноша совершил ошибку, один из миллиона, но ведь он был одним из нас, моряков. Тайна его поведения завоорожила меня, словно ускользающая истина была настолько важной, что влияла на представление человечества о самом себе...

Марлоу ненадолго замолчал, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, забыл о своем рассказе, но, закулив, снова заговорил:

– Да, я виноват. Незачем было лезть к парню в душу и устраивать ему допрос с пристрастием. Это моя слабость. Его слабость – иного порядка. Моя заключается в том, что я не замечаю случайного и внешнего, не делаю различий между мешком тряпичника и тонким бельем богача. Я наблюдал разных людей, с иными близко соприкасался, как и с Джимом, и всякий раз видел перед собой лишь человеческое существо...

Марлоу остановился, быть может, ожидая ободряющего замечания, но все молчали, только один слушатель прошептал:

– Вы такая тонкая натура, мистер Марлоу.

– Кто, я? – усмехнулся он. – О нет! Вот Джим был утонченным, и, как бы я ни старался достоверно изложить его историю, я все равно пропускаю множество оттенков: они такие тонкие, что трудно передать их бесцветными словами. Ибо парень осложнял дело еще и тем, что был очень простодушным, бедняга! Клянусь Юпитером, он был удивительным. Он говорил мне, что ни с кем и ни с чем не побоялся бы сразиться: это так же верно, как и то, что он сидит передо мной. И он в это верил. Конечно, это звучало наивно... и вместе с тем грандиозно. Я наблюдал за ним исподволь, словно подозревал его в намерении вывести меня из себя. Он был уверен, что по чести, – заметьте, «по чести» – ничто не могло его испугать. Еще с тех пор, как он был «вот таким» – совсем мальчишкой, – он готовился ко всему внезапному и трудному, с чем приходится сталкиваться на суше и на море. Он гордился своей предусмотрительностью. Он воображал всевозможные опасности и придумывал, как с ними справиться, ожидая самого худшего и мобилизуя все свои силы. Нередко он впадал в состояние экзальтации. Представляете? Замечательные приключения, жажда славы, победный путь. Каждый день своей жизни он хотел увенчать ощущением собственной проницательности. Он забывался, глаза его сверкали, и с каждым его словом мое сердце, опаленное юношеской чистой наивностью, сжималось все тревожнее. Мне было не до смеха, но и сочувственной улыбкой я не хотел его обидеть, а потому делал каменное лицо. Это раздражало его, он продолжал думать, что я считаю его трусливой тварью. В ответ я примирительно заверял его, что в жизни события часто развиваются самым неожиданным и непредвиденным образом.

Мои успокоительные фразы Джим воспринимал с оттенком презрения. Наверное, он полагал, что неожиданное не сможет его испугать, а непостижимому трудно одержать верх над его подготовленностью. На «Патне» ему просто не повезло, несчастье застигло его врасплох, он проклинал море и небо, судно и экипаж. Все его предали. Им овладела высокомерная покорность, которая мешала ему пошевелить пальцем, в то время как трое его сослуживцев – шкипер и два механика, отчетливо уяснившие неприглядность своего положения, – в отчаянии пыхтели над шлюпкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, второпях они случайно защемили болт переднего блока и, поняв, чем им грозит такая оплошность, окончательно утратили здравый рассудок. Наверное, неприятное это было зрелище: яростные усилия троих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в спящем море, старались высвободить шлюпку, ползали на четвереньках, вскакивали, бранились, готовые вцепиться друг другу в горло. Удерживал их только страх смерти, которая чудилась им за спиной, словно непоколебимый и хладнокровный конвоир. О да! Зрелище драматичное. Джим помнил его во всех подробностях и говорил о нем не иначе, как с презрением и горечью. Мельчайшие детали он воспринимал каким-то шестым чувством и клялся мне, что стоял поодаль и не смотрел ни на шкипера с механиками, ни на шлюпку, – не бросил ни единого взгляда. Я верю ему. Он был парализован жутким зрелищем накренившегося судна, угрозой жизням пассажиров, над его пылкой головой фантазера взметнулся острый разящий меч прозаически-безжалостной жизни.

Весь мир замер перед ним: юный помощник капитана видел только мрачную линию горизонта и бескрайнюю равнину моря, а дальше – отчаянный бросок, бездна, гибель всех надежд, звездный свет, навеки смыкающийся над головой, как свод могильного склепа, черный конец многообещающей жизни, смерть напрасной мечты. Джим разом представил все это – типич-

ная реакция для романтически настроенного молодого человека. Он был артистом иллюзий, одаренным способностью быстро вызывать видения, предшествующие событиям. И зрелище, которое он нарисовал в своем воображении, заставило его окаменеть, мысли закружились в его мозгу в дикой пляске – хромые, немые, вихрь страшных калек. Джим исповедовался передо мной, словно я был наделен властью или священным саном отпустить ему грехи. Он обнажал передо мной свою душу в тщетной надежде получить прощение, которое не принесло бы ему в итоге никакой пользы. То был один из тех случаев, когда даже священный обман не дарует облегчения, когда ни один посторонний человек, даже добрый, понимающий и сочувствующий, не в состоянии помочь страдальцу...

Итак, Джим стоял на штирборте мостика, в сторонке от того места, где шла борьба троих трусливых негодяев за шлюпку. Шкипер и механики отпихивали друг друга от лодки с неистовым возбуждением и в то же время втихомолку, словно заговорщики. Два малайца безмолвно сжимали спицы штурвала, а под тентом в глубоком неведении спали несколько сотен усталых человеческих существ – паломников, предвкушавших религиозный подвиг. Я думаю, жирный немец-шкипер и двое механиков не зря тряслись от страха, – старое судно буквально дышало на ладан. Я не дал бы и фартинга за то, что дряхлая «Патна» продержится на плаву хоть несколько минут. И все-таки она держалась. Этих спящих странников как будто защищал их Аллах, чтобы они смогли совершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. В этом легко усмотреть нечто мистическое, но я не верю в мистику и знаю: старое железо порой выносливее, чем дух иных людей, исхудавших, как тени, и несущих на своих плечах тяжелое бремя жизни. Станным кажется мне и поведение двоих рулевых. Их вместе с прочими туземцами вызвали в суд давать показания. Один из них, робкого вида, с добродушной желтой физиономией, был совсем молодым. Помню, ассессор Брайерли спросил его через переводчика, о чем он думал в момент аварии. Обменявшись с туземцем несколькими словами, переводчик объявил суду: «Он говорит, что ни о чем не думал».

Другой рулевой был пожилым, с кротко мигающими глазами, его седую косматую голову прикрывал синий хлопчатобумажный платок, полинявший от стирки; лицо у него исхудало, щеки провалились, коричневая кожа от сети глубоких морщин казалась совсем темной. Он признался, что догадывался о какой-то беде, грозившей судну, но никто не приказывал ему бросить штурвал и покинуть пост. Так зачем бы он стал это делать? Отвечая на дальнейшие вопросы, мужчина передернул худыми плечами и заявил, что ему и в голову не приходило, будто белые – капитан, его помощник и механики – собираются из страха бросить «Патну». Он до сих пор в это не верит. Может, у них имелись какие-то тайные причины, о которых никто не знает? Старик глубокомысленно помотал кудлатой головой. Тайные причины. Опыт у него большой, он много лет служил на море, работал бок о бок с белыми моряками и приобрел у них многие знания – тут рулевой в упор посмотрел на Брайерли, словно ища у него поддержки, но знаменитый капитан «Оссы» даже не повернул голову в сторону свидетеля. Внезапно старый рулевой обрушил на слушателей поток имен давно умерших капитанов и названий местных судов, уже стертых из памяти безжалостной рукой времени. Малайца прервали, и наступило долгое молчание, перешедшее в тихий шепот. Данный эпизод явился сенсацией второго дня следствия, возбудив всю аудиторию кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и, как и Брайерли, не поднял головы, чтобы взглянуть на необыкновенного свидетеля, в отличие от него, Джима, завоевавшего полную симпатию публики.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.